

**ИГНАТИЙ
ПОТАПЕНКО**

НЕ ГЕРОЙ

Игнатий Потапенко

Не герой

«Public Domain»

1891

Потапенко И. Н.

Не герой / И. Н. Потапенко — «Public Domain», 1891

«Бакланов спускался по чугунной лестнице с третьего этажа, где помещалась его квартира. Он был как всегда: недурно, но нельзя сказать, чтобы хорошо настроен, красив, одет не то чтобы изящно, а скорее симпатично. Все на нем сидело вольно и даже чуть-чуть мешковато и уж во всяком случае не по моде: пальто длинное, хотя франты Невского давно уже щеголяли в коротких, брюки широкие и полосатые...».

Содержание

Часть I	5
I	5
II	10
III	15
IV	20
V	25
VI	30
VII	34
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Игнатий Николаевич Потапенко

«Не герой»

Часть I

I

Бакланов спускался по чугунной лестнице с третьего этажа, где помещалась его квартира. Он был как всегда: недурно, но нельзя сказать, чтобы хорошо настроен, красив, одет не то чтобы изящно, а скорее симпатично. Все на нем сидело вольно и даже чуть-чуть мешковато и уж во всяком случае не по моде: пальто длинное, хотя франты Невского давно уже щеголяли в коротких, брюки широкие и полосатые, а между тем последним словом были – в клетку и узкие, шляпа мягкая, светлая, что ни в каком случае не подходило к темно-серому пальто; но все это шло к его красивому лицу с круглой русой бородкой, с румяными щеками, с серыми добрейшими глазами, которые дружелюбно смотрели на весь мир и ежеминутно говорили: «Ничего, ничего; конечно, не все на свете прекрасно; есть много несовершенств, несправедливостей, обид; но тем не менее – ничего, – мне все-таки недурно живется, и я люблю божий свет!» Когда он дошел до последней ступеньки, почтенный седобородый швейцар, несмотря на свой большой рост и свою тяжеловесность, засуетился, быстро выдвинул ящик ясеневоего столика, вынул оттуда пакет и подал Бакланову.

– Это вам-с, Николай Алексеич! Сию минуту принесли, не успел представить.

Бакланов взял пакет, красиво поднял веки и брови, как бы спрашивая: "Мне? От кого бы?" – и начал не спеша распечатывать пакет, в то же время продолжая свой путь уже по панели Фурштадтской улицы. Решительно не мог он себе представить, от кого и по какому поводу могла бы прийти ему телеграмма. Человек он неделовой, в провинции у него никого нет, кроме старой больной тетки, живущей где-то под Серпуховом в своей усадьбице, такой же полуразрушенной, как она сама. Кое с кем в Москве он ведет переписку, с одним профессором, с двумя журналистами, с редактором одного толстого журнала, но ни с кем из них у него не было такого дела, чтобы могла понадобиться телеграмма. Но кто бы это?

– Ах, вот кто! – промолвил он вслух, развернув телеграмму и прочитав прежде всего подпись. Там значилось: Рачеев. А телеграмма кратко извещала о прибытии завтра в одиннадцать часов на Николаевский вокзал.

"Рачеев, Рачеев! Старая дружба, сердечная дружба, школьная..." – думал Бакланов, продолжая свой путь уже по Литейному, по направлению к Невскому. Он и сам не замечал, что шаги его сделались чаще и тверже и весь он был в волнении. Рачеева он не видал уже лет семь и за все это время почти никогда не думал о нем. В последний раз он приезжал сюда из Москвы и побыл всего две недели. Он был мрачен и на все сердит. Помнил Бакланов горячую сцену в ресторане Палкина, когда они и с ними еще Ползиков истребляли напитки в отдельном кабинете. Все были разгорячены, а Рачеев больше всех, потому что он пил не для удовольствия, а с единственным желанием напиться и, как он говорил, "видеть мир перевернутым вверх ногами". Рачеев тогда страдал обычной болезнью русских порядочных людей – невежеством, куда приложить свои силы таким образом, чтобы они не пропали даром. Бакланов и Ползиков вели разговор о каком-то начинающем авторе, причем Бакланов утверждал, что это несомненный талант, а Ползиков с свойственной ему мифистифельской ядовитостью говорил, что все бездарности были в свое время начинающими талантами. Вдруг Рачеев хлопнул по

столу кулаком с такой силой, что бутылка подпрыгнула и повалилась набок, а красное вино из нее вылилось на светлую жилетку Ползикова.

– Черт вас побори с вашими талантами, бездарностями, со всей вашей литературой, со всеми вашими благородными бумажными идеями! Не то, не то, не то! Все это никуда не годится! – крикнул он взволнованным дрожащим голосом и с каким-то отчаянием запустил пальцы в свои густые темные волосы.

– Оно, положим, все это гроша медного не стоит, но зачем же стулья ломать?! – пожимая плечами, заметил Ползиков, быстро отодвинул свой стул от стола и принялся с большим рвением вытирать салфеткой жилет. – Вот, жилетку мне испортил!..

– Да, это правда! – продолжал Рачеев тоном раздражения, горечи и насмешки. – Жилетки жаль, жилетка не виновата... Жилетка... Она, пожалуй, честнее всех нас вместе взятых!.. Она бессмысленна и бездушна, а у нас есть ум, способности, силы, стремления... И все это мы пропиваем, проедаем да проговариваем в дружеских беседах – ни к чему и не для кого!.. Нет, больше этого не будет! – он опять, еще с большей силой, ударил кулаком по столу. – Я или возьму быка за рога, или – пулю в лоб!

Он встряхнулся, встал и протянул руку собеседникам. Казалось, он совсем протрезвился, ноги его стояли твердо, глаза смотрели просто и здраво.

– Завтра уезжаю, прощайте! – сказал он по-дружески. – Ну вас, с вашим Петербургом...

– Куда? – спросил Бакланов.

– К себе в усадьбу. Там засяду в одиночестве, подопру голову руками и буду решать гамлетовский вопрос. А дальше что-нибудь обо мне услышите...

На другой день друзья проводили поезд, с которым уехал Рачеев. Около года Бакланов ничего не слышал о приятеле, но затем до него дошли слухи, что Рачеев почти безвыездно живет в своей усадьбе, недалеко от Москвы и по соседству с усадьбой тетки Бакланова. Слухи двоились, московские корреспонденты из школьных товарищей изображали Рачеева чуть ли не героем, посвятившим все свои силы хорошему делу, которое и они – корреспонденты – любили, но сил ему не посвящали; тетка писала (тогда она еще владела правой рукой), что Рачеев просто помешанный. Бакланов, разумеется, тетке не верил, а на отзывы корреспондентов своих смотрел как на одно из тех душ возвышающих преувеличений, которые так легко делаются добродушными людьми, потому что это ничего не стоит. Сам же Рачеев ничего не писал ему, и все это вместе взятое помогло Бакланову позабыть о приятеле. За это время он успел жениться, прочно устроиться на литературном поприще и стать уже близко к званию любимого писателя, званию, которое капризной публикой дается не так-то легко.

И вдруг телеграмма от Рачеева! Разом выплыли наружу все хорошие, даже иногда трогательные, чувства, какие он давно питал к школьному приятелю. Славный мальчик! Сердечный, весьма не глупый, искренний, свободно увлекающийся. Нет у него никакого особенного дарования, но разве это уже не дарование – быть хорошим человеком, который привлекает к себе общую симпатию? А главное – не привезет ли он в своей особе что-нибудь новенькое, какой-нибудь характерный тип современности, пригодный для освежения его наблюдений? Это очень важно.

Бакланов дошел до Невского и повернул по направлению к Адмиралтейству. "Куда же мне направиться?" – подумал он. Он вышел погулять перед завтраком, что делал каждый день. Погода стояла чудная. Был конец сентября, жара спала уже давно, а слякоть еще не пришла. Невский был залит солнцем, красив и оживлен. Бакланов любил пройтись два конца среди этого шума и возни, ему нравилось, когда его толкали в бок; чтоб перейти улицу, он выбирал места, где погуще толкотня экипажей. Это волновало его. Но на этот раз ему хотелось чего-то другого – какого-нибудь развлечения, чего-нибудь более сильного, интересного разговора, выдающейся встречи. "А, да вот что: заеду к Евгении Константиновне! Кстати, сообщу ей о завтрашнем событии. Рачеев, конечно, будет ей представлен, и она на него набросится, как на

интересного героя. Она всюду ищет чего-нибудь новенького, что бы не походило на то, что есть в действительности. Вот он как раз и сослужит ей эту службу..."

Он взял извозчика и поехал на Николаевскую улицу. Уже ему виден был четырехэтажный дом, выкрашенный в серую краску, и он невольно устремил взор на большие окна бельэтажа, который занимала Высоцкая. Но еще не доехав до подъезда, он увидел карету, запряженную парой вороных, и узнал их. Карета выкатилась из ворот и сдержанно приближалась к подъезду. "Гм... Она уезжает. Пожалуй, не стоит заходить!" – подумал он, но так как извозчик уже остановил лошадь, то пришлось сойти, а тут уже было делом привычки – войти в подъезд и подняться в бельэтаж.

Но Бакланову не пришлось звонить. Дверь растворилась, и навстречу ему показалась стройная женщина среднего роста, в длинной модной кофточке серого цвета, зашитой стеклярусом; украшавший ее светлые золотистые волосы миниатюрный ток, тоже серый с крошечной зеленой птичкой, удивительно гармонировал с ее приветливым веселым подвижным лицом, скорее худощавым, чем полным, с ясными, как-то необыкновенно прямо смотревшими глазами.

– Николай Алексеич? – промолвила она певучим голосом, которому как будто недоставало мягкости. Глаза ее раскрылись шире, на губах, розовых, полных, появилась улыбка приветливая, но в то же время лукавая, словно заключавшая в себе какую-то скрытую мысль. От этой улыбки изменялось и выражение ее глаз, которые смотрели теперь уже не так просто и не так прямо. – Я вам рада, пойдете! – и она сделала движение к раскрытой еще двери. – Я хотела съездить в Гостиный, но это не к спеху!..

– Нет, нет, пожалуйста! Я знал, что вы уезжаете, и поднялся так, почти машинально! – возразил он, пожимая ее маленькую ручку с еще не совсем натянутой перчаткой. – Пойдете вниз... У меня нет ничего, кроме желания убедиться, что вы здоровы!

– О, я здорова, хотя скучаю, потому что друзья мои меня забросили...

– Друзья? С какой стороны? – он спросил это с явной усмешкой, а она слегка покраснела, и улыбка ее сделалась еще более выразительной, почти насмешливой.

Они медленно спускались по лестнице.

– Вы все-таки не можете простить мне этого? – говорила она.

– Раздвоения? О боже мой! Я вам чего-нибудь не простил бы? Вы знаете, Евгения Константиновна, что такой вещи нет на земле... Разве вы этого не знаете?

– Знаю, к сожалению!..

– К сожалению? Почему же к сожалению?

Евгения Константиновна сделала кучеру знак, чтоб ехал за ними; они пошли тротуаром.

– Будто вы не знаете? – спросила она, взглянув на него мельком. Улыбка уже исчезла с ее губ. – Потому что это все одно и то же и в этом нет ничего ни интересного, ни поучительного, все вы в этом отношении одинаковы и все это так похоже на... да на все остальное... Все вы более или менее... как бы это сказать помягче... говорите мне неправду, и этим обижаете меня!..

Бакланов рассмеялся.

– Правда вообще горькое кушанье – я не говорю это применительно к вам – а я не привык огорчать моих друзей. Ах, да, вот что: я могу доставить вам случай познакомиться с неким, если и не новым, то во всяком случае не слишком обыкновенным явлением...

– Какой-нибудь литературный талант, молодой и подающий надежды? – спросила она тем же шутливым тоном, каким говорил и он.

– О нет, от этого я вас на сей раз избавлю. Притом же – это явление в нашей гостинной довольно обыкновенно. Замечено даже, что стоит только молодому таланту появиться у вас, как он складывает у ваших ног все свои способности и оставляет за собой навеки титул подающего надежды...

– Боже мой, как злы и беспощадны эти литераторы, которым удалось оправдать надежды! – заметила она с шутивным вздохом. – Но что же это – ваше необыкновенное явление?

– Это необыкновенное явление есть мой старый школьный товарищ и друг, по фамилии Рачеев, а по имени Дмитрий Петрович...

– Вы никогда не говорили мне о нем...

– Да, я потерял было его из виду, считал даже, так сказать, сравнявшимся с землей... Но он внезапно возродился, и как еще! Я получил от него телеграмму – он завтра приедет и, конечно, пристыдит и посрамит всех нас...

– Это давно пора!.. Но чем же этот ваш друг не похож на Бакланова, Ползикова, Мамурина и прочих?

– Евгения Константиновна, – с шутливой обидчивостью проговорил Бакланов и даже на секунду остановился. – Неужели для Бакланова в вашем сердце нет местечка отдельно от Ползикова, Мамурина и tutti quanti ¹. Это обидно...

– Ха, ха, ха! Мы говорим о вашем друге... Продолжайте!

– Извольте, – с миной грустной покорности промолвил Николай Алексеевич. – Мой друг Рачеев довольно долго и довольно бурно искал, так сказать, истинного фасона жизни и нашел его в деревне...

– Тут пока еще нет ничего необыкновенного...

– Погодите, будет... В деревне он живет не для прохлады, не для воздуха, а ради осуществления своих гуманитарных широких идеалов.

– Это интересно, но необыкновенного и тут нет...

– Ну, может быть, его и не будет, я не знаю... Ведь вас ничем не удивишь, ибо вы, Евгения Константиновна, видали виды. Но прибавлю, что мой друг – человек умный, образованный, горячий и необыкновенно убежденный. Чтобы окончательно охарактеризовать его, скажу, что ему тридцать два года, он брюнет и красив...

– Это для чего же прибавка? Чтобы обидеть меня?

– Нет, но для женщины это очень важно: молодость и красота. Никакой самый возвышенный и восторженный пророк не сдвинет ее с места, если у него лицо в морщинах и недостает передних зубов. Это мое мнение...

– Довольно противное мнение и притом не оригинальное!.. А все-таки вы заинтересовали меня вашим другом... Приведите его ко мне...

Она подала ему руку и затем спешной походкой пошла к карете. Бакланов приподнял шляпу и проводил взглядом экипаж, повернувший на Невский. Он направился домой, потому что приближался уже час завтрака. Жена не любила, когда он запаздывал. На лице его все время играла чуть заметная усмешка, он думал: "Если Рачеев не будет глуп, то на Николаевской могут произойти занимательные эпизоды". И в голове его, привыкшей на основании двух-трех едва намеченных положений создавать целые романы, уже промелькнул набросок широкой картины с завязкой и развязкой, с множеством красивых и интересных эпизодов, героиней которых была Евгения Константиновна Высоцкая. Он давно уже, чуть не с первой встречи с нею, наметил ее как героиню романа. Ее история и теперешняя жизнь, ее наружность, взгляды и приемы – все это так подходило для этой цели и само собой укладывалось в страницы его тетради. Был только один пробел в этом романе: героиня не показала себя в каком-нибудь решительном шаге, по крайней мере на его глазах, и он не мог предугадать, какой оборот в таком случае примет эта оригинальная, самостоятельная, гибкая натура, то и дело ускользающая от положительного определения при помощи обычного психологического аршина. И почему-то

¹ Тому подобных (*ит.*).

ему казалось, что Рачееву предназначено вызвать кризис в этой натуре, которая тогда развернется во всю свою, как он думал, могучую ширь.

"Однако это черт знает что такое! – думал Бакланов, вступив на Фурштатскую и приближаясь к своей квартире. – Что за дурацкая привычка – смотреть на мир с точки зрения годности его для литературного произведения. Ведь вот, кажется, старого друга жду, отношусь к нему искренно, сердечно, а первые мысли, какие вызывает во мне этот приезд, – не выйдет ли общественно-психологического романа примерно в двадцать печатных листов! Черт знает, что за направление мозга! Говорят, что сапожник, при встрече с новым человеком, прежде всего смотрит ему не в лицо, а на сапоги, а портной на сюртук, и с этой точки зрения оценивают людей. Нельзя сказать, чтобы это была лестная аналогия для писателя!"

II

Бакланов прошел сперва в кабинет, но так как в это время маленькие часы, стоявшие на камине, пробили час, то он тут же вернулся и через зал направился в столовую. Катерина Сергеевна в подобных случаях требовала от него пунктуальной точности и, когда он опаздывал к завтраку или обеду, умела сделать испорченным и то и другое. Она делалась строгой, неохотно отвечала на вопросы, не смеялась и даже не улыбалась, когда Бакланов острил или рассказывал смешные вещи и когда действительно надо было смеяться, и вообще принимала вид и тон безвинно обиженной женщины, а это подавляло Николая Алексеевича и портило ему аппетит. Она считала, что своевременный приход всех членов семьи к столу – необходимое условие порядочности, которую она старательно поддерживала в доме.

Но Бакланов не опоздал и нашел ее свежей, веселой, довольной и интересной в ее белом пеньюаре, с красивой и тщательно сделанной прической густых темных волос, с легким румянцем обыкновенно бледно-матовых щек. Он поцеловал ее, а она встретила его приветливой ласковой улыбкой, как бы в благодарность за то, что он твердо помнит свои семейные обязанности и не опаздывает к завтраку. Он поцеловал также и четырехлетнюю хорошенькую девочку, сидевшую рядом с матерью на высоком соломенном креслице, а девушке с розовым недуреньким личиком в легких веснушках и с двумя тяжелыми золотисто-рыжими косами, занимавшей край стола, он только кивнул головой. Это была его сестра: между ними были дружеские отношения, но без нежностей.

– Хорошо спали? И когда изволили проснуться? – тоном шутливой важности обратился он ко всем разом, садясь за стол и наливая себе из графинчика какой-то красноватой водки.

– Я только что, а Лиза с Таней, как водится, спозаранку!.. – с легким смехом ответила Катерина Сергеевна. Ей было весело без всякой причины, просто потому, что встала она с постели хорошо выспавшись, чувствовала себя здоровой, сильной, красивой и от предстоящего дня не ждала ничего, кроме ряда спокойных и более или менее приятных ощущений.

– Спозаранку – это у вас означает часов в одиннадцать, не правда ли? Ну, я к этому времени успел написать около четвертой печатного листа...

– Еще бы! Ты ведь встаешь до неприличия рано!.. Обрати внимание на грибной соус. Это изобретение нашей новой кухарки, Аксины. А ты разве теперь опять что-нибудь пишешь?

– Разумеется, а как же иначе? Ведь мы всегда что-нибудь едим и во что-нибудь одеваемся... Ну, значит, надо что-нибудь писать.

– И опять деревенское?

– Не специально, но главным образом действие происходит в деревне!

– Вот тощица! Неужели это еще не надоело твоим читателям и тебе самому?

Николай Алексеевич чуть заметно сдвинул брови.

– Я уже не раз просил тебя, Катя, не подымать об этом разговора, – произнес он с плохо скрываемым недовольством. – Это именно тот пункт, где кончается наше согласие и начинается...

– Разногласие? Ха, ха, ха! Так что ж тут дурного и... опасного? Если бы люди во всем были согласны, то это было бы очень скучно!..

Николай Алексеевич еще больше сдвинул брови и посмотрел на жену исподлобья.

– Ну, а это уж выходит слишком весело, когда близкие люди, живущие, по-видимому, общей жизнью, расходятся в самых основных принципах... – промолвил он и еще раз взглянул на жену почти враждебно.

– О боже мой! – воскликнула Катерина Сергеевна прежним веселым тоном, по-видимому, не придавая значения настроению мужа. – Но не могу же объясняться в любви перед нашей деревней, когда я терпеть не могу ее и даже просто ненавижу от всей души!.. Я только

искренна и больше ничего. Я нахожу деревню с ее обывателями, вашими излюбленными героями, скучной, глупой, грубой, низменной и дрянной, говорю это открыто и удивляюсь, что у тебя есть охота писать о ней, а у твоих читателей – читать... Впрочем, глубоко убеждена, что если бы тебя, деревнелюбца и народника, посадили в деревню и заставили жить там с этими Пахомами и Акулинами два года и лишили бы тебя всего, чем ты здесь пользуешься, то ты волком взвыл бы...

– Это совсем другой вопрос, – мягче уже заметил Бакланов.

– Вот то-то и есть, что вы для удобства делаете из этого два вопроса, один для души, а другой для тела... А у меня один. Вот и все.

Во время этого диалога молодая девушка смотрела на супругов с выражением явного опасения. Бакланов дома и в особенности с женой всегда был ровен, умеренно весел, добродушно шутив и очень краток в тех случаях, когда ставился какой-нибудь серьезный вопрос. Он умел подчинить свое настроение необходимости, а необходимость состояла в том, чтобы в доме царил мир и спокойствие и семейная жизнь не омрачалась бы разногласиями и бурными сценами. Во многом и даже в очень многом расходясь с женой, он почти никогда не спорил с нею, а если и спорил, то мягко и пассивно, уступая позицию за позицией. Катерина Сергеевна не умела спорить объективно и, принимая всякое несогласие за личную обиду, очень скоро переходила во враждебный тон, начинала сыпать колкостями, упреками и нередко кончала тем, что появлялись слезы в глазах и как-то сама собой разбивалась кофейная чашка или тарелка. К чему было допускать до этого? Убедить ее в чем-нибудь все равно не было никакой надежды, а между тем несколько часов оказывались испорченными для него, для сестры, для Тани, для прислуги и даже для гостей, которым случалось зайти к ним в это время. Поэтому Николай Алексеевич держался системы отступлений и в каждом случае практиковал ее до тех пор, пока ему, под благовидным предлогом взять сигару, не удавалось уйти в кабинет, и уж он тогда считал себя победителем.

Но молодая девушка всегда делала исиуганное лицо, когда речь заходила о деревне и о литературных творениях брата. Казалось, что в этих случаях Николай Алексеевич был бессилён совладать самим собой, и это, может быть, были единственные вопросы, которые заставляли его страстно спорить и защищать свою позицию. После целого ряда стычек, кончавшихся тем, что Катерина Сергеевна, вся дрожащая, со сверкающими глазами, объявляла себя самой несчастной женщиной в свете и уж, конечно, отказывалась от еды, питья и прочих благ мира, а Николай Алексеевич убежал в кабинет и энергично расхаживал из угла в угол, тяжело вздыхая от времени до времени и трагически запуская пальцы в волосы, Бакланов торжественно попросил жену никогда не касаться этих вопросов. Поэтому Лиза ждала бури, тем более, что на лице Николая Алексеевича появился зловещий признак – сдвинувшиеся брови, что приходилось ей видеть очень редко на лице брата.

Но в этот день все сложилось счастливо. Катерина Сергеевна редко чувствовала себя такой здоровой и бодрой, как в этот день. Постоянно жаловавшаяся на нервы и легко расстраивавшаяся от ничтожнейших причин, в иные, нечасто выпадавшие дни она казалась себе самой словно совсем другим человеком, и мир представлялся ей совсем не таким уж плохим, а в душе преобладало стремление видеть во всем только приятную и веселую сторону. Сегодня был именно такой день, и она могла свою тираду о деревне произнести вполне спокойным и добродушным тоном. Заметив же, что на мужа ее речи влияют не совсем благоприятно, она своевременно остановилась и поставила точку. Таким образом, семейного инцидента не вышло, и с лица Лизаветы Алексеевны исчезло выражение тревоги.

Катерина Сергеевна занялась Таней, которая настоятельно этого требовала, так как весь ее передник был залит грибным соусом. Николай Алексеевич вынул тоненькую сигаретку, подрезал ее и закурил, когда ему дали миниатюрную чашку черного кофе.

– Вот что я хотел сказать тебе, Катя! – промолвил он уже совершенно спокойным и благодушным тоном. – Я получил телеграмму от своего приятеля Рачеева. Он завтра приедет; я не знаю, имеет ли он в виду остановиться у меня, по всей вероятности, – нет, но я все-таки считаю своим долгом пригласить его.

Опять в глазах девушки появилось выражение беспокойства. Удивлялась она даже тому, как решился брат сделать такое предложение. Ничто так не расстраивало Катерину Сергеевну, как присутствие в доме постороннего человека. Был такой случай, что приехал один приятель Бакланова из Москвы и прожил у них всего четыре дня, и эти четыре дня были отравлены для всего дома. Катерина Сергеевна говорила, что в таких случаях она чувствует себя так, словно посторонние глаза смотрят ей в душу, и ей неловко даже тогда, когда она остается одна в своей комнате. И вид у нее тогда делается суровый и враждебный по отношению ко всем членам семьи, а в особенности к гостю; ничем ей угодить нельзя, все ей кажется неудачным и всем тяжело с нею.

Но такова уже была удача этого дня. Катерина Сергеевна ни одним словом не протестовала. Она только усомнилась, будет ли приезжому удобно в угловой комнате, и выразила удивление по поводу того что у Бакланова появляются приятели, о которых она никогда ничего от него не слыхала.

– Не было случая сказать! – заметил Николай Алексеевич. – А Рачеев не только приятель мой, а и друг... старинный друг!

– Ах, я плохо верю в старинную дружбу, о которой за пять лет ни разу не вспомнили! – промолвила Катерина Сергеевна. – Откуда он и зачем? Он литератор?

– Очень мало. Помню его две-три статьи, ничем, впрочем, не замечательные. Он живет в своей маленькой усадьбе, неподалеку от тетушки Марьи Антиповны.

– Что же у тебя с ним общего?

– Как что? Во-первых, прошлое. Мы вместе были в гимназии и в университете. А потом – убеждения, взгляды... Он ярый народник и притом – на практической почве. Я слышал, что там, в деревне, он деятельно осуществляет свои убеждения.

– Вот как? Первый раз в жизни вижу человека, который не только высказывает, но и осуществляет свои убеждения! – с легкой иронией в голосе заметила Катерина Сергеевна. – Это занимательно... А впрочем, этот Рачеев, наверно, очень скучный человек.

– Наперед ничего не обещаю! – благодушно промолвил Бакланов, пересев на широкий, мягкий диван и наслаждаясь сигарой.

– Разве вот для Лизы он послужит источником откровений: она ведь тоже большая народница в модной шляпке!..

Слова эти были сказаны, однако ж, нисколько не обидным тоном. Катерина Сергеевна нередко подшучивала над Лизой. Они жили дружно и никогда не ссорились. Происходило это, может быть, оттого, что Лиза умела терпеть и уступать. Когда на Катерину Сергеевну находило беспричинное а иногда зависевшее от ничтожной причины нервное настроение и она начинала с жестоким и мучительным для нее самой наслаждением придирается к мелочам, отыскивая в них новый источник для раздражения, Лиза, очень хорошо заметившая, что протесты в подобных случаях достигают противоположной цели, глядела на все это молча, с полуулыбкой. Катерина Сергеевна ценила это, и обе женщины, столь непохожие друг на друга, уживались мирно. Ценил это и Николай Алексеевич. Когда, три года тому назад, Лиза выразила желание переселиться в Петербург и жить у них, он, разумеется, поспешил написать ей самое горячее приглашение, с прибавкой, что жена будет очень рада. Катерина Сергеевна с своей стороны тоже выразила удовольствие. Она считала, что сестра мужа имеет на это право. Но в глубине души Бакланов таил опасение, как бы это не возмутило покой их тихой семейной жизни. О сестре он почти не имел понятия. Она росла на попечении тетки, в провинции, там и училась. Оставил он ее маленькой девочкой, невзрачной, круглолицей, неловкой, и очень был

удивлен, когда, поехав после женитьбы к тетке, увидел взрослую девушку, прилично воспитанную, встретившую его просто и задушевно и с восторгом заговорившую о его произведениях. Она была его поклонницей, разделяла его взгляды, за что тетушка называла ее "дурочкой", а брат смотрел на нее ласково. Однако ж приглашение ехать в Петербург он сделал ей только вскользь, между прочим.

– Охота тебе, сестра, сидеть здесь?! Ехала бы к нам, право! – бросил он как-то в разговоре.

– Зачем? – спросила она.

Но он уже говорил с тетушкой, вопроса ее не слышал и к предмету этому не возвращался.

Прошел год, Лизе стало уже около двадцати лет, и тетушка завела песню о замужестве.

– Ты, положим, недурна собой, ты рыжетка, а мужчины любят рыжеток, особенно золотистых... А все ж таки здесь трудно хорошо выйти. Народу здесь нету подходящего, одни медведи... Ты напиши-ка Николаю, пусть возьмет тебя к себе. В столице женихов много, хоть пруд пруди ими!..

Лиза не собиралась замуж, но ничего не имела против переезда в столицу. Произошел обмен писем, и Лиза уже в Петербурге. Брат встретил ее с сдержанной радостью; до последней минуты он все-таки надеялся, не помешает ли ей что-нибудь, не раздумает ли она. Он дорожил тишиной своего маленького семейного очага, а к сестре относился больше с формальной братской любезностью, чем с любовью. Между тем ему до сих пор редко приходилось слышать, чтобы две молоденькие женщины могли ужиться мирно под одной крышей.

Но Лизавета Алексеевна сумела сделать свое присутствие в доме брата приятным и очень скоро рассеять все опасения Бакланова. Она обладала какой-то особенной способностью, вмешиваясь во все по домашнему хозяйству и облегчая таким образом невестке ее хозяйскую роль, держаться совсем в стороне от чисто семейных интересов Баклановых. Таким образом, присутствие ее чувствовалось только в качестве полезной и приятной помощницы, внутренняя же, личная жизнь Баклановых как бы ее совсем не касалась. Во время супружеских споров, сопровождавшихся капризными выходками Катерины Сергеевны, она незаметно исчезала и не появлялась до тех пор, пока горизонт не прояснялся. Когда же к ней обращались с жалобой, она всегда очень мягко, но тем не менее определенно была на стороне женщины, чем вызывала расположение невестки и благодарность мужа. Больше всего на свете любила она свою маленькую комнатку, где она, сидя в кресле или лежа на кровати, зачитывалась книгами, которых было так много у брата. Но из всего, что приходилось ей читать, на первый план она ставила произведения Николая Алексеевича, считая их верхом совершенства. В самом деле, это была самая восторженная и самая искренняя поклонница его таланта.

На замечание Катерины Сергеевны Лиза улыбнулась.

– Какая я народница, полно!.. – промолвила она мягким, слабым голосом. – Это ты мне слишком много чести делаешь, Катя! А Рачеева я ведь знаю немного. Я видела его раза два. Один раз он приезжал к тетушке, когда наш объездчик захватил крестьянских коров. Он хлопотал за них, чтобы выпустили...

– В этом и состоит осуществление великих идеалов?! – иронически заметила Катерина Сергеевна.

– Нет, это целая история! – продолжала Лиза, и лицо ее, обыкновенно холодное и спокойное, оживилось, а голос сделался звучным. – Он говорит тетушке: вы требуете с них по три рубля, а мужику три рубля – это неделя работы. Притом коровы вам ничего и не испортили, траву помяли только. А тетушка смеется и говорит: коли ты им сочувствуешь, так и плати за них, а я своим правом поступиться не намерена. Рачеев на это ни слова не сказал, вынул кошелек и заплатил за восемь коров двадцать четыре рубля...

– Весьма благородно! – промолвила Катерина Сергеевна с прежней иронией.

– Это не все. Недели через три случилась и с тетушкой беда. Рачеевы загнали наших коров да еще с телятами, всех что-то штук пятнадцать. Тетушку известили, она в негодовании:

неужели он посмел!? Это не по-соседски и не по-дворянски! А у Рачеева никогда и обычая не было загонять скот. Тетушка пишет ему: произошло недоразумение, но надеюсь, что вы поступите благородно и отпустите скот. А он ей отвечает: я тоже своим правом поступаться не намерен. Извольте заплатить по три рубля за штуку. Пришлось заплатить!.. С тех пор тетушка его видеть не может...

– Ну что ж, могу только сказать одно: что он не мямля, это хорошо! А впрочем, ведь завтра мы его увидим, этого вашего героя! Воображаю, как он будет возмущен!

– Чем, Катя? – спросил Бакланов, взглянув на нее с удивлением.

– Как чем? Жизнью и обстановкой писателя-народника, его легкомысленной женой, любящей комфорт и одевающейся прилично... Помилуй бог, – у нас шесть комнат, когда можно всем жить в одной: я на кровати, ты на печке, Лиза на полатах, а Таня в висячей люльке... Мы на обед тратим каждый день три рубля, когда можно всем насытиться парой голландских селедок с тремя фунтами хлеба и бутылкой квасу; мы ездим в театр, устраиваем журфиксы, о боже, боже!.. Я думаю, при виде этого у вас в первый же день произойдет ссора, если не драка!..

Все это говорилось полунасмешливо и полушутя, но без всякой злости. Лиза, разумеется, уже свернула свою салфетку, продела ее в кольцо и, допуская возможность более или менее крупного объяснения между супругами, благоразумно ушла к себе. Но Бакланов не сказал ни слова на выходку жены. Он облокотился на спинку дивана и докуривал свою сигару с таким видом, будто речи Катерины Сергеевны нисколько его не задевают. Но в голове его проходил ряд мыслей и сопоставлений. Ему казалось, что приятель в самом деле должен быть очень удивлен. Если Рачеев читал его произведения, в которых так прочувствованно и красноречиво проповедуется простота жизни и осмеивается пустое, бессодержательное увлечение соблазнами комфорта, то, конечно, ему бросится в глаза это противоречие.

И какое-то тревожное чувство зашевелилось у него в груди, почему – он и сам не мог дать объяснения. Что это? Неужели угрызение совести или трусость перед укорами приятеля? Но ведь он все это зарабатывает честным и нелегким трудом и талантом, который дал ему бог. Эта мысль, однако ж, плохо утешала его, и когда он ушел к себе в кабинет и вынул из ящика стола мелко, до половины исписанную тетрадь, то сейчас же почувствовал, что ничего путного не напишет. Ощущение неопределенной тревоги, мешало ему.

III

Бакланов занял позицию у выхода с платформы и смотрел во все глаза на пассажиров, медленно, без особенно заметной суетливости проходивших с чемоданами и узлами. «Неужели я его прозевал?» – мысленно спрашивал он себя, когда толпа пассажиров значительно поредела.

В это время к нему приближался высокий плечистый человек в сером, запыленном пальто, из-под которого выглядывал косой ворот синей ситцевой рубашки. Бакланов взглянул на него и подумал: "Не он ли? Но откуда у него такая гигантская борода?" Но несмотря на то, что длинная окладистая черная борода была неожиданностью, он тотчас же узнал приятеля, узнал главным образом по сдержанной улыбке, которая играла на его губах где-то под густыми усами.

– Фу ты! Откуда у тебя этакая борода? Просто не узнать! – удивлялся Бакланов, целуясь в то же время с приятелем. – Изумительно!..

– На свежем воздухе вырастил! – промолвил Рачеев довольно мужественным, громким и внятным голосом. – Спасибо, что встретил! А я ведь наугад послал, думал, может, тебя и в Петербурге нет...

– Ну где ж мне быть и как не встретить старую дружбу! – с теплой искренностью в голосе ответил Бакланов. – Багаж есть? Давай-ка квитанцию, артельщик это живо проделает... Уж я и извозчика взял...

– Куда? Мне не надо извозчика...

– Как не надо? Да ведь мы же вместе поедem ко мне!.. Там готова для тебя комната! А я, брат, живу отсюда порядочно: на Фурштадской...

– Спасибо тебе, да только я не воспользуюсь.

– Ну что ты? Вот глупости! Обидеть меня хочешь?

– Нет, обидеть тебя не хочу, а только к тебе жить не поеду. Я тут в Знаменской... Существует еще старуха? А?

– Существует, только она теперь помолодела, и нынче она не Знаменская, а Северная... Да, послушай, я тебе этого не позволю, я тебя силой к себе возьму...

– Ого! Ну, хорош этот Петербург! Не успел ступить на его почву, как уже насилие!.. Нет, голубчик, у меня есть свои причины...

Минут через десять приятели были в маленьком номере Северной гостиницы в третьем этаже. Бакланов пристально вглядывался в приятеля, стараясь наобзудить, какая с ним произошла перемена. Возмужал и чертовски окреп. Семь лет тому назад это был худощавый, слабогрудый молодой человек, смотревший совсем юношей, с блестящими задумчивыми глазами и болезненным цветом лица. В глазах его выражалась какая-то непрерывная усталость и безразличие. Только в минуты сильного возбуждения, большею частью искусственного, в этих глазах появлялся огонь и какой-то несокрушимой энергией веяло от его взгляда. Но возбуждение проходило, температура падала, и опять – холодное, болезненное утомление, словно этому человеку все равно, существует ли мир, прекрасен ли он и стоит ли жить. Теперь это был совсем другой человек. Энергией, глубокой и постоянной, дышала каждая черта его лица, каждое его движение, каждое слово. Человек этот, несомненно, ощущает равновесие между своими стремлениями и силами и, может быть, представляет собой решение той головоломной психологической задачи, которую многие безуспешно пытались решить.

– Что так глядишь? Разве во мне есть что-нибудь удивительное? – спросил Рачеев, вымывшись и переменяв дорожный пиджак на светлый и более легкий.

– Все в тебе удивительно, Дмитрий Петрович, все! – сказал Бакланов задумчиво. – На тебя только поглядеть, и в голове целая поэма рождается...

– Ха-ха-ха! А ты остался все тем же. По-прежнему мыслишь поэмами, романами, повестями, очерками и рассказами?..

– Тот, да не тот. А впрочем, сам увидишь. Я, брат, женился...

– Да, это изменяет человека. Твоя правда. К лучшему или к худшему, но непременно изменяет. Но вот ты удивись, если узнаешь, что я женился!

– Ты? На ком же?

– Ну, это, положим, для тебя все равно, потому что ты ее не знаешь... Но это и не важно. Расскажи, что ты теперь делаешь, как живешь, что пишешь; слышал о твоих литературных успехах... Расскажи про ваш Петербург, чем теперь живут у вас, какое преобладает течение...

– Течение – тихое. Живем изо дня в день, никому зла не делаем, да и добра тоже! – с меланхолическим видом ответил Бакланов. – Бог бережет нас от всякой напасти. Что же касается меня, то я пишу исправно, работаю пропасть, потому что денег нужно пропасть, меня печатают и читают охотно... Вот и все...

– И все? Неужели же все? – с легким удивлением спросил Рачеев. – Но что-нибудь же волнует вас? Задаются же вы какими-нибудь вопросами, стараетесь проводить какие-нибудь идеи? Мы, сидящие в провинции, привыкли смотреть на Петербург как на фабрику, которая вырабатывает идеи, направления, обобщения разрозненных запросов и стремлений и затем пускает их в оборот. Ну-ка, что вы выработали за семь лет, подавайте-ка сюда!

Рачеев говорил это со смехом, очевидно не придавая серьезного значения своим речам. Тем не менее Бакланов на минуту задумался: "А что в самом деле я мог бы ему ответить, если бы он спросил меня об этом серьезно? – думал он. – Какую новую идею, какой новый положительный общественный тип выработали мы за семь лет? Смешно даже спрашивать об этом. Жили себе да поживали, вот и все... Ведь вот, когда видишь перед собой свежего человека, непохожего на нас, которые все так похожи друг на друга, так и подумаешь об этом..."

– Но ты не думай, что я тебя допрашиваю, – успокоил его Рачеев, – не думай также, что я совсем-таки невежествен по этой части. За кое-чем следил и тебя читал исправно и очень, очень одобрял. Мне нравится твоя манера: горячо, картинно, убежденно и убедительно...

– Ах, ах! – вздохнул Бакланов.

Вид этого человека с загоревшим лицом, черты которого как будто стали резче и выразительнее, крепкого, уверенного в себе, от которого с первого же взгляда на него повеяло какой-то свежей струей, все больше и больше нагонял на него меланхолию. Он чувствовал себя неловко, словно Рачеев имел право потребовать от него строгий отчет в действиях его и всего Петербурга. Каждую минуту ему казалось, что вот-вот приятель поставит ему какой-то вопрос ребром и он, как ленивый школьник, не найдет, что ответить. "Это оттого, что у меня совесть не чиста", – думал Бакланов, и, чтобы окончательно избавиться от этого неприятного ощущения, он переменял разговор.

– Полно обо мне, поговорим о тебе. Это куда интересней! Зачем ты приехал в Петербург? Мне кажется, что я имею право это спросить у человека, который семь лет не делал нам этой чести и вдруг...

– Вот как у вас выражаются! – перебил его приятель. – Я приму это к сведению. Ведь я совсем отвык от здешних изысканных форм речи. Зачем я приехал? Как зачем? Да хотя бы затем, чтобы посмотреть, что у вас тут делается. Поучиться у вас уму-разуму, ну и, наконец, поразвлечься. Проживу здесь два месяца...

– Только всего?

– Неужто мало? Разве у вас так много интересного? Что ж, я не тороплюсь. Могу и еще с месяц остаться, если будет стоять...

– Гм... Если будет стоять! Да ведь это – как смотреть!.. Вот ты говоришь: поразвлечься. Что это значит по-твоему?

– Да то же, что, вероятно, и по-твоему... Ты, я вижу, как-то странно на меня смотришь: точно я не такой человек, как ты и как все... Все умное, занимательное, живое – интересует меня, надеюсь, как и тебя. Веселое общество, интересная пьеса, хорошая музыка, умная книжка... Всего этого у нас маловато, все это я люблю, и если ты предоставишь мне это, то окажешь услугу... Ха-ха-ха! Я вижу, ты удивлен, разочарован... Ха-ха-ха!.. Я по всему замечаю, что ты встретил меня не просто, а с предубеждением. Тебе про меня кто-то говорил... а? И изобразил меня человеком черствым, огрубелым и окаменелым, не правда ли? И вдруг я прошу музыки и веселого общества! Так, что ли?

– Нет, совсем не так... – серьезно возразил Бакланов, – А дело в том, что ты просишь невозможного... вот в чем дело!..

Рачеев с видом удивления поднял брови.

– Это что же значит?

– Да вот, например, веселого общества ты желаешь. Помилуй бог! У нас его нет и не найдешь ты его ни за какие жертвы!.. Ты встретишь здесь многолюдные собрания, да... Я даже сам могу тебе предоставить эту штуку... у меня по четным пятницам бывают журфиксы. Собирается человек тридцать-сорок. И это, я тебе доложу, такая классическая скука, даже тоска, что ты, уверен я, сбежишь с первого же вечера. Как ни приспособляются люди, ничего не выходит. Попробуют петь – бросят, попробуют танцевать – бросят, попробуют об умных вещах поспорить, и это бросят... Вот разве закусывают только дружно и согласно, а все остальное только пробуют... И всюду так, всюду, куда ни пойдешь... Потом: интересную пьесу подавай тебе... Да нету, брат, их, нету. Не пишут. Не хотят писать даже и те, которые могут... На сцене у нас играют какие-то детские сказки в лицах... Музыку хорошую? Ну, это, должно быть, где-нибудь есть, я за этим не слежу... А вот насчет умной книжки, это, брат, напрасно... По этой части у нас хоть шаром покати...

Рачеев молча, внимательно посмотрел на приятеля.

– Нехорошо, брат, Николай Алексеич, нехорошо!.. – сказал он тоном ласкового приятельского упрека. – Нехорошо!

Он больше ни слова не сказал в пояснение и стал задумчиво ходить по комнате. Бакланов не понял еще, к чему относится это трижды повторенное слово, и тем не менее ему почему-то вдруг сделалось неловко. Никак он не мог отделаться от тревожного ощущения, что "свежий" приятель вот-вот откроет в нем какие-то недочеты, противоречия, неоправдание надежд... И это "нехорошо", сказанное просто и мягко, и последовавшее за ним хождение по комнате окончательно встревожили его. "Черт возьми, какой простотой от него веет, какой уверенностью, свежестью! – думал он, глядя на коренастую видную фигуру Рачеева. – И сколько в нем, в его взгляде, тоне, голосе добродушия, даже наивности!" Но "нехорошо" все-таки очень беспокоило его.

– То есть, собственно, к чему же это относится? Объясни, пожалуйста, Дмитрий Петрович! – сказал он с улыбкой, плохо скрывавшей его волнение.

Рачеев ответил, не переставая ходить по комнате.

– А к тому и относится, что ты, Николай Алексеич, стариться начинаешь!.. Между тем по времени это тебе рано...

– Это как? – с искренним удивлением спросил Бакланов.

– Да вот: ворчишь и брюзжишь, да еще во все стороны и по всем направлениям. И веселого общества нет, и пьес хороших не пишут, и книжек умных – хоть шаром покати!.. Неужели? Что за безвременье такое? После этого выходит, что у вас в Петербурге действительно тоска, и умному человеку тут жить совсем не с руки. А между тем ты, умный человек, живешь тут, и многие умные люди живут... И именно вот в Петербурге, а нигде больше жить не хотят... Как же это так выходит?

Бакланов промолчал, желая дать приятелю возможность досказать свою мысль до конца. Рачеев в самом деле поставил свой вопрос как бы для себя самого, вовсе не желая смущать им Бакланова. Он продолжал:

– И неправда все это, что ты говоришь! Неправда, говорю тебе свое искреннее мнение. И веселое общество у вас есть, и, наверно, ты нередко весело и приятно проводишь вечера, ну, сознайся: и долгие занимательные беседы ведешь, и смеешься от души, и нехотя идешь домой... Ведь бывает? И в театр на первые представления ходишь: записываешься заранее, стараешься достать билет... А в театре внимательно слушаешь пьесу и следишь за игрой актеров, часто смеешься, иной раз и сердце забьется сильнее... И в книжный магазин забегаешь, подолгу рассматриваешь новости и нередко уносишь под мышкой свеженький экземпляр новенькой книжки, а дома просиживаешь два часа в кресле, разрезывая и просматривая ее... Иные места ты находишь интересными, умными и отмечаешь на полях карандашом... Ну, сознайся, так все это или почти так?

– Пожалуй!.. – промолвил Бакланов таким тоном, как будто вслед за этим готов был высказать основательное возражение. Но Рачеев не ждал этого; он только хотел кончить свою мысль.

– Вот то-то и есть, дружище! – сказал он, подсев к столу и глядя на приятеля ласково-улыбающимися глазами. – Я давно пришел к этому заключению и очень рад, что ты подтверждаешь его: что петербуржцы – такие же милые и простые люди, как и прочий род человеческий, но почему-то напускают на себя пессимизм. И какой-то странный пессимизм. Непременно им надо бранить себя: свое общество, свой театр, свою книжку, свои идеи. – И ведь сами хорошо знают, что во всяком обществе найдутся интересные люди, да и во всяком человеке, хотя бы самом заурядном, ежели в нем хорошенько покопаться, найдется что-нибудь интересное, оригинальное, свое; во всякой пьесе нет-нет да и встретится живое слово, живая сцена, набросок... И во всякой книжке есть что-нибудь умное... И уж, конечно, они прекрасно знают, что нигде в России умственная жизнь не кипит так ключом и все не идет так вперед, вперед, как в Петербурге... А все ворчат и хаот самих себя...

– Гм... – произнес Бакланов тоном человека, сделавшего открытие, – а ведь это, пожалуй, похоже на правду! Ей-богу!.. Неверно только одно: что мы напускаем на себя какой-то там пессимизм. Ничего мы на себя не напускаем, а просто... как бы тебе сказать... приелись нам все эти блага, обильно посылаемые судьбой, хочется чего-нибудь лучшего, а ничего такого создать не можем... Да, да, это так!..

– Ну, это тот же пессимизм, только не с головы, а с хвоста!.. – смеясь, заметил Рачеев. – Это тоже вы любите себе приписывать, какую-то слабость нравственную, дряблость, бессилие... Ну, да бог с ним! Что это мы с тобой с первого же шага сцепились?.. Ты вот что, Николай Алексеевич: я человек любопытный, не хочу терять времени даром и желаю самолично узнать, что здесь у вас и как... и очень на тебя надеюсь. Ты познакомь меня, с кем только возможно... Понимаешь: с кем только возможно. Я хочу видеть как можно больше людей и ощупать их, так сказать, собственными руками... У меня есть тут кой-какие знакомства, но это совсем с другой стороны...

– Это можно. Это – сколько угодно! – ответил Бакланов. – Между прочим, ты сделаешь одно чрезвычайно интересное знакомство... Одна дама... Она – вдова, молода, богата, умна и главное – оригинальна и, так сказать, содержательна. Если хочешь, можно даже сказать, что она представляет собою нечто новое, новый тип... У нее – салон, где ты встретишь людей всевозможных умственных профессий... Только предупреждаю, есть опасность: она красива и ею можно увлечься...

– Ну, на этот счет не беспокойся. Я благополучно пережил уже ту пору, когда надо предупреждать меня о подобной опасности... Притом же – я женат...

– О, это, брат, ничего не значит!..

– По-вашему не значит, а по-нашему значит!.. – серьезным тоном заметил Рачеев, и опять Николай Алексеевич почувствовал, как прежде, неопределенное чувство неловкости. "Просто он прост, а все же в нем есть что-то, делающее его не таким, как мы..." – подумал он, и в эту минуту он еще не мог определить, что это за особенность такая.

Рачеев встал.

– Да, вот еще что: посоветуй, где мне купить кой-какие парадные вещи, как то: черную пару, перчатки и пр. Без этого у вас ведь шагу нельзя сделать. Но, разумеется, попроще, подешевле. Мне ведь месяца на два, а там хоть на улицу выбрасывай... А теперь вези меня к себе и познакомь с своим семейством. С этого следует начать. Но, я думаю, по старой дружбе, ты позволишь мне в пиджаке... а? Ты не беспокойся, все прилично, как следует... Вот я сейчас и переоденусь... Совлеку с себя, так сказать, захолустного человека и облечусь в столичного!.. Немного отвык я от этого костюма, но лицом в грязь не ударю...

Бакланов улыбнулся замечанию приятеля, а Рачеев принялся мыться и "совлекать с себя захолустного человека". Минут через десять он вышел из-за драпри, отделявшего кровать, и, улыбаясь всем своим лицом, сказал:

– Ну, что? Как находишь? Надеюсь, я вполне приличен и никто из столичных жителей не покажет на меня пальцем, дескать: вот он – медведь!..

Бакланов осмотрел приятеля, похвалил его полосатые брюки и темно-синий пиджак и вообще нашел, что по части внешности не остается желать ничего лучшего... Опытный глаз, конечно, мог бы найти кой-какие изъяны в смысле фасона – складку не на месте, излишнюю пуговку на рукаве, устарелой формы галстук, но Рачеев в этом костюме смотрел так солидно и внушительно, что эти недочеты были даже как бы уместны.

– Не купить ли мне палку для полной корректности? – спросил полушутя Рачеев.

Бакланов хохотал. Палка вовсе не была нужна для корректности и даже напротив – могла бы повредить общему виду. Они взяли извозчика и поехали на Фурштадскую.

IV

Час завтрака наступил, а Бакланова с приятелем еще не было. Лиза сидела в маленькой гостиной, торопясь дочитать какую-то журнальную статью; Таня прыгала вокруг нее, ежеминутно подбегала к ней, толкала ее и всячески мешала ей. Бойкая веселенькая девочка, с низко выстриженной головой, лицом походила на мать, и даже цвет ее щек, еще румяный, носил матовый оттенок, а темные глазки умно и лукаво выглядывали из-за длинных и густых ресниц.

Таня была очень привязана к тетке. В качестве единственной дочери она была порядочно избалована, любила самостоятельность и своеволие и терпеть не могла, когда ей что-нибудь запрещали и отказывались исполнить ее каприз. Лиза и тут отличалась необыкновенным терпением. Она умела, читая книжку, отвечать девочке на все ее вопросы, которые никогда не истощались, улыбаться, когда это требовалось, качать головой или приходиться в ужас. Ей ничего не стоило на самом интересном месте закрыть книгу и, по требованию Тани, играть в "гуси", в "доктора", во что угодно. Если же девочка требовала чего-нибудь очень уж неудобного или выдумывала какую-нибудь опасную игру, Лиза никогда не отказывала ей прямо, а умела искусно привлечь ее внимание к другим вещам и заставить забыть об игре.

Благодаря такой методе, которую ценила и Катерина Сергеевна, Таня не находила лучшего общества, как Лизы, и решительно не отставала от нее, совсем игнорируя свою няньку.

Когда пробило час, Катерина Сергеевна вышла из спальни в столовую.

– Отчего же ты не идешь завтракать, Лиза? – спросила она громко.

Лизе показалось, что в ее голосе есть едва заметная нотка раздражения. Она тотчас же взяла за руку Таню и пошла в столовую. Катерина Сергеевна, обыкновенно выходящая к завтраку в капоте, теперь была одета так, как будто хотела сейчас выйти из дому. На ней было черное суконное платье, красиво облегавшее ее видную, осанистую фигуру. Она любила черный цвет, который был ей к лицу, и охотно одевалась в него. Лиза вошла, ведя одной рукой Таню, а в другой держа полураскрытую книгу, и стала искать глазами, куда бы положить ее.

– Уж одно из двух: или завтракать, или читать! – заметила Катерина Сергеевна. – Няня, оденьте Тане салфетку! Тебе, Таня, котлету или яичницу?

Все эти три замечания были высказаны простым тоном, в котором не слышалось ни тени злости, но, несмотря на это, Лиза сейчас же поняла, что невестка дурно настроена и что теперь для нее весь вопрос состоит в том, к чему бы придраться, чтобы отвести душу. Посторонний человек ничего такого не заметил бы, но Лиза слишком хорошо изучила свою родственницу, все изгибы ее голоса, все тонкие тени на ее лице. Для нее довольно было уже того, что все замечания, сказанные тоном небрежным, отрывистым, как бы вскользь, были совсем неосновательны. Катерине Сергеевне не могло не быть известным, что Лиза никогда не позволит себе читать за завтраком, и она знала также хорошо, как и Лиза, что книга сейчас будет положена на круглый столик. Ей также лучше, чем кому другому, было известно, что Таня терпеть не может яичницы и ни за что не станет есть ее. Приказание же одеть Тане салфетку было сделано как раз в то время, когда няня – высокая, худощавая старуха в белом чепце, с вечно покорным, кротко улыбающимся лицом, подошла уже к девочке, держа в руках развернутую салфетку. Для Лизы это были самые верные приметы, по которым она безошибочно определяла семейную погоду.

Она положила книгу на круглый столик и молча села за свой прибор. Катерина Сергеевна разрезывала и ела котлету с чрезвычайно серьезным, деловитым видом. Для Лизы и это было приметой. Она теперь решала вопрос, где источник сегодняшнего раздражения, насколько оно серьезно и до какой точки может пасть барометр. Первое недоумение сейчас же разрешилось само собой.

– Я удивляюсь Николаю! – сказала Катерина Сергеевна. – Неужели он привезет этого господина после завтрака?.. Это значит, начнется второй завтрак, потом обед... Терпеть не

могу, когда в доме едят целый день, точно в трактире... Ведь поезд приходит в одиннадцать часов...

– По всей вероятности, Рачеев остановился в гостинице, и Коля засиделся у него! – сказала Лиза.

– Это для меня безразлично, где он остановился... Но я после завтрака принимать неспособна... Наевшись, занимать гостей – это даже негигиенично...

– Он простой, Рачеев... Его совсем не нужно занимать...

– Но, однако ж, не в блузе же прикажешь принять его!..

– Поверь, что он не придумал бы этому никакого значения!..

– Очень может быть... Но я не могу позволить себе этого!.. С какой стати?.. Уж не потому ли, что он старый друг моего мужа? Я убеждена, что эта старая дружба сведется к тому, что они после двухчасовой беседы не будут знать, что сказать друг другу... Таня, если ты еще хоть один раз позволишь себе брать мясо руками, то я велю вывести тебя из-за стола... Я не могу сидеть три часа затянутой в корсет!..

Таня скромно вытерла пальцы о салфетку и без всяких возражений принялась есть при помощи вилки. Она тоже почувствовала, что надо по возможности смириться и молчать. А Лиза думала: "Это будет слава богу, если Рачеев остановился в гостинице. Не дай бог приехать ему сюда с чемоданами".

В это время в передней раздался звонок.

Катерина Сергеевна встала.

– Пожалуйста, скажи Николаю, чтобы меня оставили в покое. Я не выйду... Теперь уж я не могу!..

На лбу у нее играла капризная морщинка, а в голосе как-то тихо сдержанно звучала трагическая нотка, словно эту женщину только что кровно обидели. Она сейчас же ушла в спальню, не допив своей чашки кофе.

Лиза не двинулась с места. Лицо ее приняло выражение озабоченности и уныния. Ей было крайне неприятно, что Рачеев попал к ним в такой неудачный день.

– Отчего мама рассердилась? – спросила Таня.

– Она вовсе не рассердилась... Она нездорова!.. – разумно-успокоительным тоном ответила Лиза. – Ешь, пожалуйста, Таня! Ты ничего не ешь, а только копаешься.

В гостиной уже слышались шаги и голоса. Лиза была уверена, что брат проведет гостя в кабинет. Никогда не решится он притащить его прямо в столовую после того, как опоздал к завтраку. Прежде всего он справится о настроении Кати. И они действительно прошли в кабинет.

Николай Алексеевич просит гостя посидеть минутку: он только предупредит жену и затем познакомит их, если она здорова. Через минуту он вошел в столовую.

– А Катя? – спросил он.

Но ему стоило только взглянуть на сестру, чтобы самому правильно ответить на этот вопрос. Однако же он сегодня не хотел этому поверить сразу, и лицо его приняло вопросительное выражение.

– Катя поручила мне передать тебе, что она не выйдет и чтобы ее не беспокоили. Она ждала вас к завтраку, была одета... Лучше было бы, если бы вы приехали вовремя!.. – прибавила она с легким оттенком упрека.

– Ах! – произнес Бакланов с тихим, но глубоким вздохом. – Как это неприятно!.. Она там? – спросил он, взглядом указывая на спальню.

Лиза кивнула головой. Он осторожно открыл дверь в спальню и вошел, плотно затворив за собою дверь.

Спальня помещалась в большой комнате, разделенной драпри. В передней половине комнаты, откуда выходили окна во двор, стояла мягкая, низенькая мебель, обитая кретоном, туа-

летный столик, миниатюрный письменный стол с изящным письменным прибором. Другая половина служила собственно спальней.

Бакланов приподнял драпри и увидел Катерину Сергеевну, которая лежала на кровати лицом вверх, заложив обе руки под голову.

Николай Алексеевич надеялся, что ему будет стоить небольших трудов уговорить жену выйти. Но когда он увидел, что на Катерине Сергеевне была только белая юбка да ночная белая же кофточка, а платье в полном беспорядке лежало тут же на стуле, то эта надежда в нем сильно поколебалась.

– Катя! Что же это ты, право?.. Я засиделся, потому что он переодевался у себя в номере... Нельзя же было мне оставить его в первую минуту после приезда... Ты, конечно, выйдешь?!

Все это он проговорил чрезвычайно мягким голосом, стараясь, чтобы не было ни одной сколько-нибудь шероховатой нотки. Тон его выражал простую уверенность, что Катя выйдет к гостю; в нем не слышалось даже подозрения насчет того, что она раздражена и настроена враждебно.

– У меня голова болит! – отрывисто промолвила Катерина Сергеевна и повернулась на бок, лицом к стенке, на которой висел небольшой кавказский коврик.

– Но ты хоть на минутку... Потом уйдешь и будешь лежать!.. Неловко. Я сказал, что представлю его тебе...

– Подумаешь, как это важно и как он нуждается в этом!.. – промолвила она, все-таки не оборачиваясь к нему.

– Да, очень важно... Он очень интересуется тобой!.. – с убеждением проговорил Бакланов; но это было сказано с расчетом на женскую слабость – тщеславие, в сущности же Рачеев не дал никакого повода утверждать это.

– Мной? – спросила Катерина Сергеевна и опять легла на спину, и лицо ее выражало какую-то злорадную иронию. – Очень любезный человек твой приятель... Но я им несколько не интересуюсь... Я была бы очень довольна, если бы он прошел совсем мимо меня и мне не пришлось бы знакомиться с ним... Мне просто он несимпатичен, твой приятель, хоть я его не знаю вовсе...

Все это было сказано с единственной целью сказать кому-нибудь что-нибудь неприятное, кого-нибудь обидеть, взбесить. В эту минуту у Катерины Сергеевны была такая потребность. Бакланов привык к этого рода необъяснимым настроениям и всегда в таких случаях заботился только об одном – как бы смягчить и поскорее разогнать тучи. Но его задача осложнилась тем обстоятельством, что в кабинете сидел приятель, которого нельзя было оставить одного, значит – надо было торопиться; он потерял равновесие и вышел из себя.

– Ах, боже мой, это же, наконец, невыносимо! – воскликнул он с сильным волнением. – Вечное противодействие всегда и во всем. Неужели же нельзя взять себя в руки хотя бы из приличия!? Мы точно дети – играем в какую-то игру... Я для твоего спокойствия делаю всевозможные уступки, а ты не можешь сделать мне самой пустой! Ты хочешь, чтобы посторонний человек, в первый раз только вступивший в наш дом, сейчас же узнал, что у нас ссора...

Катерина Сергеевна приподнялась, села на кровати и выпрямилась.

– Ты желаешь, чтобы я насильно вышла к нему? – спросила она мрачным голосом, зловеще нахмутив брови.

– Я хочу, чтобы ты взяла себя в руки. Ты можешь посидеть пять минут и потом под благовидным предлогом уйти. Может быть, это трудно тебе, но не невозможно же в самом деле!..

– Я ничего не делаю под благовидным предлогом... Я выйду, если ты требуешь... Но уж извини, улыбаться я не могу, когда у меня на душе кошки скребут! – сказала она прежним тоном и протянула руку к платью. Она продолжала, и вдруг голос ее задрожал и в нем

явственно слышались слезы. – Я знаю... Ты, конечно, ничего не сказал приятелю... Даже не намекнул... Но двадцать раз вздохнул при слове "жена"... Дескать, понимай, как я счастлив... Ну да, ты, конечно, несчастлив... Все так и думают и говорят, и во всем виновата я... Но что же делать? Я не могу перемениться... Я знаю – я очень дурная женщина и очень плохая жена... Но...

И глаза ее наполнились слезами. Еще два слова – и она заплакала бы... Но Николай Алексеевич не мог выносить этого тона. Насколько его коробило и даже бесило, когда жена, под влиянием раздражения, была несправедлива и способна ни с того ни с сего кровно обидеть ни в чем не повинного, первого попавшегося человека, настолько же его трогало до глубины души, когда Катерина Сергеевна падала духом, самоунижалась и доходила до слез. В такие минуты его охватывала жалость, сердце наполнялось нежностью к этому беспомощному существу, потому что он знал, что она в самом деле в этот момент страдает, чувствует себя и дурной женщиной, и плохой женой, и во всем виноватой, и что за минуту перед этим, когда она ненавидела всех людей и весь мир, она была так же искренна и так же беспомощна. В такие минуты он чувствовал, как бесконечно велика его привязанность к жене, и понимал, что те уступки, которые он делал ей и которыми сейчас даже попрекнул ее, были ничто в сравнении с теми жертвами, какие он способен принести, только бы устроить ей спокойную жизнь. И тогда он, в свою очередь, во многом винил себя и во многом каялся, даже в таких вещах, о которых Катерина Сергеевна не знала, – и слава богу, что она не знала о них.

Николай Алексеевич остановил ее и, схватив ее руки, стал целовать их.

– Катя! Полно! Катериночка! Милая! Ничего подобного!.. Прости мне мою вспышку – глупую, дурацкую... Она не стоит твоих слез... Право, не стоит... – говорил он нежным, задушевым голосом.

Катерина Сергеевна нервно прикусила нижнюю губу и старалась вырвать у него руки, но он не выпускал и настойчиво целовал их. Наконец она, как бы ослабев в борьбе, дала ему волю. Тогда он охватил ее голову обеими руками, любовно посмотрел ей в лицо и нежно поцеловал ее влажные горячие глаза. Но вот она слабым движением руки отвела его голову от своего лица и пристально взглянула ему в глаза, словно проверяя, искренни ли эти ласки или это только так, чтобы успокоить ее. Но, видно, в глазах его она прочитала искренность, потому что лицо ее вдруг расцвело веселой, радостной и такой красивой улыбкой, на щеках появился густой румянец, она вся встрепенулась и прижалась к нему всем своим телом...

Через минуту она уже весело хохотала, быстро одевалась и говорила:

– Право, мне нет никакого дела до твоего направления... Право же, я готова его держаться, если ты хочешь... Только люби меня вот так восторженно, как сейчас, а не той пустой, тупой, формальной любовью, какой полагается мужьям любить своих жен... О, я больше ничего не хочу, и видишь – есть лекарство от моей болезни... Я хочу, чтобы ты немножко поклонялся мне, хоть каплю лежал у моих ног и приносил мне маленькие жертвы... Я знаю, что это нехорошо, но меня это делает счастливой. Я хочу, чтобы ты всегда был виноват передо мной... Ха, ха, ха!.. Правда, я немного сумасшедшая? Как ты находишь?

Румяная, оживленная, смеющаяся, с блестящими глазами, она показалась Николаю Алексеевичу такой красивой, какой он видел ее редко. Он любовался ею и ее черным платьем, которое, когда лежало в стороне, было так угрюмо и незаметно, а на ней выглядело изящным и даже нарядным. Он говорил ей, что на все согласен – и поклоняться ей, и лежать у ее ног, и приносить жертвы, и быть всегда виноватым.

– Ну, иди к своему приятелю. Я только причешусь и сейчас же выйду! – сказала она. – Ты увидишь, как я буду обворожительно любезна с ним. Ну, целуй руку и уходи! Хочешь, я даже народницей сделаюсь! Ха, ха, ха, ха!

Она протянула ему руку – он поцеловал, улыбаясь. Он радовался и тому, что инцидент так неожиданно благополучно окончился, и тому, что у него такая очаровательная жена и так

любит его, и, наконец, своему собственному чувству, такому теплomu, сердечному и радостному.

– Ты виноват? – с комической серьезностью спросила она.

– Виноват! – с тем же выражением и приложив руку к сердцу ответил он. Она засмеялась.

Он пошел в кабинет.

V

Лиза недолго сидела в столовой. Она сейчас же поняла, что разговор в спальне едва ли будет короток. Таня кончила завтрак, няня сняла с нее салфетку и вымыла ей губы и руки. Девочка была изящна в синей матроске с вышитым золотом якорем на груди. Когда ее одевали, то имели в виду, что будет гость.

– Пойдем в кабинет, Таня! – сказала ей Лиза.

– Но там гость!?! – возразила девочка.

– Ну, вот мы и зайдем его. Ты ведь умеешь занимать гостей!..

– Еще бы! Я умею!..

Лизавета Алексеевна вошла в кабинет, ведя за руку Таню, которая ступала осторожно и неуверенно, как бы остерегаясь какой-то опасности. Но это было, разумеется, только кокетство, потому что Таня всем смело смотрела в глаза и никого не боялась. Рачеев, вертевший в руках какую-то книгу, случайно взятую им со стола, поднялся и вежливо, но очень сдержанно поклонился Лизе как человеку, которого, видит в первый раз.

– Мы немного знакомы с вами!.. – сказала Лиза, отвечая на поклон.

Она обладала способностью всегда и со всеми держаться уверенно и говорить просто, спокойно и не смущаясь. В этом отношении провинциализм не наложил на нее своей печати, потому что ему противодействовало природное душевное равновесие, так удивлявшее всех в этой девушке.

– Извините, пожалуйста... я не могу припомнить!.. – ответил Рачеев, взглядываясь в ее лицо.

– У тетушки Ирины Матвеевны... Я сестра Николая Алексеича!..

– Ах, Лизавета Алексеевна!.. Да, да, простите, пожалуйста... Я никак не ожидал встретить вас здесь, оттого и не признал сразу... А я вас очень хорошо помню, хотя видел всего два раза... Как же! Вот и тогда, как и теперь, мне бросились в глаза ваши золотые волосы...

Она улыбнулась по поводу такой приметы.

– Садитесь, Дмитрий Петрович. Брат сейчас выйдет... А пока уж я как-нибудь займу вас... Не расскажете ли чего-нибудь про тетушку?

Она села на диване, а Таня стояла около нее. Рачеев опустил на прежнее место.

– Ровно ничего не знаю! – ответил он. – Я ведь с тех пор, как она на меня рассердилась, и не бывал у нее. Притом же ваша тетушка считает меня сумасшедшим.

– Да, это правда. Она никак не может примириться с вашей деятельностью.

– То есть с тем, что я не наживаю добра... В этом, собственно, вся моя деятельность. Для нее по крайней мере. Но ведь и большинство наших помещиков тоже добра не наживают... Или по крайней мере не нажили его.

– Нет, не то! – очень серьезным тоном возразила девушка. – Они его прожили, а не то, что не нажили. Есть и такие, что и не прожили и не нажили. Эти сидели, сложа руки. А вы и сложа руки не сидите, не проживаете и не наживаете... Это разница!..

Рачеев с любопытством и даже с некоторым удивлением вслушивался в слова девушки. Он нашел, что она рассуждает разумно, а по ее манере говорить, по построению речи он определил, что она "девица книжная". Он никак не ожидал встретить все это в девушке, воспитанной Ириной Матвеевной, старухой, буквально закоснелой в невежестве. Когда он был у них, Лиза сидела молча, скромно положив руки на колени, смотрела в окно, по-видимому ничего не слушая и ничем не интересуясь, и ни разу не произнесла ни одного слова. Он ничего не заметил в ней, кроме двух толстых "золотых" кос, и решил, что это одна из тех провинциальных барышень, которые растут, как грибы, и неизвестно зачем растут, без знаний, без определенного мирозерцания, без нравственных убеждений, а только с кой-какими обрывками того и

этого, без толку схваченными в школе, дома и просто с ветру. Из них выходят сомнительные жены и глупые матери... Он тогда даже подумал: "Неужели Бакланов не может сделать из своей сестры что-нибудь получше?"

Пока он размышлял таким образом, произошло короткое молчание, во время которого Таня незаметно перешла к нему.

– Отчего у вас такая черная борода? Вы ее красите? – спросила она, внимательно рассматривая его бороду и мысленно сравнивая ее со светлой бородой отца.

– Нет, – ответил Рачеев, привлекая девочку к себе, чему она не противилась. – Я ее не крашу. Она сама такая растет... Что за милая у вас племянница!.. – прибавил он, обращаясь к Лизе. – У меня тоже есть девочка, только поменьше и почерней...

– А я не знала, что вы женились!.. – сказала Лиза.

– Да, я женился вот уж около двух лет.

У Лизы был, готов уже вопрос: на ком? Но она тотчас же почему-то нашла, что этот вопрос будет неудобен. Между тем это ее очень занимало. Она знала наперечет всех невест той местности, но решительно не могла припомнить ни одной, которая подходила бы в жены Рачееву. По всей вероятности, она с большим увлечением занималась этим вопросом, потому что Рачеев ясно видел, что по лицу ее бродит какая-то мысль, которую она не решается высказать.

– Я готов держать пари, что знаю, о чем вы думаете! – сказал он, глядя ей прямо в глаза и при этом слегка улыбаясь.

Она покраснела, что случилось с нею очень редко.

– Неужели? – сказала она с заметным смущением.

– Право. Вы думаете: на ком он мог жениться?

– Вы угадали! – ответила Лиза, уже вполне овладев собой. – Я об этом думала.

– Вы знали ту девушку. Вы видели ее нередко...

– Очень может быть, но я не могу себе представить, кто она.

– Вы помните Сашу Малинову?

– Сашу Малинову?

И при этом вопросе глаза ее широко раскрылись и выразили несказанное удивление.

– Да, я помню... Так это она?

– Вот на ней я и женился!.. – просто подтвердил Рачеев и встал, потому что в это время в зале послышались шаги; он думал, что вместе с Баклановым вышла и хозяйка. Но увидев, что Николай Алексеевич идет один, он крикнул ему:

– А мы здесь разболтались с Лизаветой Алексеевной; оказалось, что мы с нею старые знакомые и она знает мою жену...

– А, да, да!.. Она о тебе говорила. Ты прости, пожалуйста, что я там засиделся. Жена сию минуту выйдет. Она очень рада твоему приезду. Тебе ведь предшествует репутация героя... – весело и шуточно сказал Николай Алексеевич.

– Ах, вот как! Отлично! – в тон ему ответил Рачеев. – Ну, можешь быть уверен, что я лицом в грязь не ударю и постараюсь оправдать репутацию, мне предшествующую!

Лиза, сосредоточившаяся была на мысли о Саше Малиновой, взглянула на веселое лицо брата, прислушалась к его тону и к тому, что он говорил, и опять изумилась всему этому. Неужели там все обошлось благополучно? Это иногда удавалось Николаю, но очень редко, и тайна этих удач для нее не была ясна. Гораздо же чаще все попытки умиротворения оказывались напрасными. В особенности она мало надеялась на это сегодня, когда уже начало было такое крутое.

Но скоро ее недоумение совсем рассеялось. Появилась Катерина Сергеевна, цветущая, хорошенькая, приветливая.

– Вот моя жена, а это, Катя, Дмитрий Петрович Рачеев, мой старинный друг и по школе и по всему другому! – сказал Николай Алексеевич.

Рачеев и Катерина Сергеевна пожали друг другу руки.

– Я про вас слышала чудеса! – прямо начала Катерина Сергеевна, и в голосе ее слышалась какая-то необыкновенная живость.

– Неужели? Что же такое, например? Вы меня пугаете! – сказал Рачеев.

– Например, что вы вполне последовательный человек: как говорите, так и делаете...

– Это правда. Я имею такое обыкновение или по крайней мере деятельно стараюсь... Но разве это так редко бывает?

– Во всяком случае, не так часто. Но вот я, например, тоже принадлежу к последовательным. Я тоже всегда поступаю так, как говорю. Только я говорю дурно и поступаю дурно! Вы не думайте, что я шучу; это чистая правда!.. Ссылаюсь на Николая Алексеича.

И она посмотрела на мужа лукаво прищуренными глазами. А Николай Алексеич смотрел на нее с улыбкой, любясь ее настроением.

– Однако ж, – продолжала она все тем же шутивным тоном, – я вовсе не зла и накормлю вас завтраком... Пойдемте! Ведь вы, наверно, голодны, Дмитрий Петрович?

– Да, довольно-таки голоден! – ответил тот с поклоном.

– Видишь, Лиза, ты не позаботилась, а я позаботилась! – весело бросила она Лизе.

Они перешли в столовую и уселись за стол. Завтрак был уже подогрет, и вообще видно было, что Катерина Сергеевна в самом деле "позаботилась", чего Лиза от нее совсем не ожидала.

– Только у меня есть одна слабость, очень маленькая, впрочем, – продолжала хозяйка, пододвигая к гостю блюдо с котлетами и горчицу, – я не люблю, когда опаздывают к завтраку и к обеду, и из-за этого способна сделать бурную сцену. Это вам нужно заметить, потому что вы у нас будете завтракать и обедать каждый день!.. Впрочем, есть еще множество других пустяков, из-за которых я способна сделать сцену.

– Я хотел бы выучить наизусть все эти пустяки, как латинские исключения, чтобы ровно на два месяца отказаться от них, – сказал Рачеев.

– К сожалению, их нельзя предусмотреть, потому что они постоянно меняются. Это зависит от погоды, от кухарки, от портнихи и тому подобное...

– О, это ужасно! – воскликнул Рачеев. – Значит, ваша жизнь есть предприятие, основанное на риске!..

– Увы! И не только моя, но и всех, кого судьба связала со мной!..

Диалог в таком роде весело и живо лился в продолжение всего завтрака. Лиза с удивлением смотрела то на невестку, то на гостя, а Николай Алексеич в душе аплодировал им обоим: жене за то, что она так мило сдержала свое слово и так прекрасно настроена, а Рачееву за то, что он оказался далеко не скучным, а даже ловким и находчивым собеседником, а следовательно, произведет на Катю благоприятное впечатление и понравится ей. Решительно Николай Алексеич должен был смотреть на этот день как на день выдающейся удачи.

Катерина Сергеевна неотступно угощала Рачеева, а тот, точно боясь обидеть любезную хозяйку, ел решительно все, что она ни предлагала.

– Вы так хорошо едите, что мне захотелось вторично позавтракать! – сказала хозяйка и действительно отломил вилкой кусочек котлеты и съела.

– Что ж, если бы мне удалось научить петербуржцев есть как следует, то это была бы немалая заслуга! – ответил Рачеев.

– А вы думаете, что в Петербурге страдают плохим аппетитом? Вы заблуждаетесь. Здесь иные с самым невинным видом съедают по шести и по восьми блюд...

– И все-таки они не умеют есть! – повторил Рачеев. – Вот смотрите, я на ваших глазах съел четыре котлеты и, пожалуй, если вы не найдете это неприличным, съем еще одну... Я не сомневаюсь, что и Николай Алексеич, и всякий другой петербуржец способен вместить в себя такое же количество пищи, но ему нужно для этого пять перемен, пять вариаций, пять обманов.

Ему, кроме того, нужна обстановка: чтобы был обеденный стол, чтобы на нем стояли разные принадлежности, не только необходимые, как тарелки, вилки, ножи, стаканы, но и совершенно ненужные, как то: рюмки трех сортов, букет цветов и т. п. Да еще непременно надо, чтобы все было в сборе в таком-то часу, иначе у них и аппетита не будет. А мы едим, как Собакевич: баран, так уж целый баран, поросенок, так целый поросенок, бык, так четверть быка. Собакевич был здоровый человек, и хотя об этом ничего не сказано, но я уверен, что ему было решительно все равно, где и при какой обстановке есть, и тоже мало было дела до того, собрались ли все к завтраку или нет. Он хотел есть и прямо, наступал на бараний бок...

– Вы и во всех других отношениях так же просто смотрите на вещи? – спросила Катерина Сергеевна, которую уже начал серьезно занимать этот внезапно объявившийся друг ее мужа.

– Да, и во всех других. Мы стараемся пользоваться благами жизни в самых простых, а следовательно, и в самых доступных формах, не мудрствуя лукаво и не тратя времени и сил на это мудрствование... А вы – то есть не вы лично, Катерина Сергеевна, а вообще петербуржцы и горожане, – стараетесь, наоборот, усложнить, запутать это пользование, чтобы сделать его более... ну, как сказать, пикантным...

– Вы, должно быть, интересные люди и вас стоит узнать поближе!..

– О, полноте! Что в нас интересного? На нас только взглянуть, и мы как на ладони!.. Я приехал сюда посмотреть на интересных людей.

– И знаешь ли, Катя, – заметил Николай Алексеевич, – кого я ему намерен прежде всего показать, в качестве интересного экземпляра?

– Уж конечно – вашу Высоцкую! – сказала Катерина Сергеевна с довольно заметным выражением иронии. – Это новый кумир, кумир, которому здесь поклоняются все, имеющие претензию считать себя умными людьми.

– О, только не я! Про меня никак нельзя сказать, что я поклоняюсь... – заметил Бакланов. – А что она очень интересная личность, я это утверждаю.

– А вы, Катерина Сергеевна, отрицаете? – спросил Рачеев.

– Нет, не отрицаю; напротив – нахожу, что она очень, очень интересна... для мужчин... Во-первых, она красива и умна, что нечасто соединяется в женщине. Она богата и может показать себя в богатой отделке... Это тоже очень важно для мужчин. Затем, она очень опытна и умеет держать своих поклонников на привязи, так что никто из них никогда не теряет надежды... Далее – она держится передовых понятий и при этом знает один секрет, которого не знали или не хотели признавать наши передовые женщины недавних времен. Они по принципу отрицали изящество и лишали себя его; она, напротив, соединяет передовитость с изяществом и этим, конечно, только выигрывает. Те – скоро надоели мужчинам и стали вызывать у них только улыбку, а она покоряет целые полчища умных людей.

– Однако вы, Катерина Сергеевна, довольно-таки злы!.. – сказал Рачеев.

– Нисколько. Все это правда. И погодите, вы сейчас узнаете, что я одобряю ее. Она хочет царить и иметь неувядающий успех, а мужчины все это любят, и это только делает честь ее тонкому уму и знанию человеческого сердца... Признаюсь, я отношусь к ней с большим уважением, но только не признаю в ней какого-то нового общественного типа, а они все признают... В некоторых отношениях я даже схожусь с ней: она, например, терпеть не может женского общества, я – тоже. Я нахожу, что общество самых плохеньких мужчин все-таки интересней общества дам, хотя бы самых передовых. Поэтому мы друг у друга бываем всего только один раз в году... Но вам я решительно советую посмотреть ее. Это – последнее слово женской хитрости!

Когда кончился завтрак и все встали из-за стола, Катерина Сергеевна еще раз повторила гостю приглашение завтракать и обедать, у них каждый день.

– Мы, – прибавила она, – будем специально для вас заказывать то барана, то поросенка, то четверть быка. Ведь этого вы нигде не найдете.

Рачеев поблагодарил, сказал, что каждый день ему не удастся проводить время так приятно, как он провел его сегодня, но что он постарается как можно чаще пользоваться этим приглашением.

Когда он простился со всеми и ушел, Катерина Сергеевна пришла в кабинет к мужу и, положив обе руки ему на плечи, рассмеялась самым веселым образом:

– Ну, Николка, ты доволен мной? А? – спросила она.

– Еще бы! Ты была так очаровательна и мила! – ответил Бакланов.

– А приятель твой мне понравился. Я нахожу его даже красивым. В глазах у него есть что-то настойчивое и самоуверенное. Должно быть, у него сильный характер.

– Да, это есть...

– А ты заметил, я ни разу не заговорила о деревне... Это нарочно для тебя... Ты это чувствуешь?

– Спасибо!

– Но когда-нибудь я еще с ним сцеплюсь по этой части!..

– Он тебя побьет! Это не то, что я – теоретик. Он переживает деревню практически...

– Посмотрим, как это он меня побьет! – весело ответила Катерина Сергеевна и пошла переодеваться.

VI

Дмитрий Петрович дурно провел ночь от Москвы до Петербурга. Несмотря на удобства, предоставляемые поездом, он никак не мог заснуть. Бог знает, отчего это происходило, – оттого ли, что он давно не ездил по железным дорогам, или им до такой степени овладели воспоминания «петербургского периода». Отчасти это он и сам заметил, когда поймал себя на представлении целого ряда картин из прошлого. То представлялись ему шумные пирушки где-нибудь в отдельном кабинете ресторана, с батареей бутылок, с возбужденными лицами товарищей, с крикливыми голосами, с звонкими фразами, с жаркими спорами о справедливости, об истине, о наилучших путях к общечеловеческому счастью, о служении ближнему... Заканчивались же эти горячие споры где-нибудь в непристойном месте, куда торная дорога с таким же успехом приводила и людей простых, пивших просто и никогда не думавших об общечеловеческом счастье... То припоминались ему другие ночи, ночи полного одиночества, когда отравленный и вином, и трескучими фразами, и всем тем, чем наполнялись товарищеские вечеринки «с знаменем», он бродил по отдаленным закоулкам Петербурга один, радуясь тому, что он один, и в то же время тоскуя, потому что в голове все-таки стояли нерешенные вопросы: но что же делать? Где же настоящие люди? Где истина? Не в кабаке же она сидит среди пьяной компании, хотя бы и преисполненной благородных стремлений!.. Но и в том и другом случае в сердце все-таки была отрава, тяжелое чувство неудовлетворенности, тоски, неприложимости своих сил. Все это было тогда, давно уж это было; и вот теперь он едет в тот же Петербург и дивится, до какой степени сам он уже не тот, до какой степени чужды ему эти прежние ощущения, отравлявшие душу, и как в груди у него все теперь дышит таким покоем, уверенностью, сознанием своей правоты, истинности своего пути, полезности своей жизни, чувством равновесия. Ясное дело, что все преимущество на стороне его *теперь*, а *прежде* кажется ему таким жалким и унижительным. И тем не менее это *прежде* неотступно стоит в его воображении мешает ему спать и даже как будто колеблет в душе его то равновесие, которое вот уже несколько лет составляло его гордость и торжество. И пришло ему на мысль, что ничто пережитое не проходит даром, что как бы ни изменилась жизнь человека, как бы ни окреп его характер, как бы ни просветлел его душевный мир, как бы ни переродилось все его духовное существо, – прошлое, каждая мелочь, каждая ничтожная черточка пережитого – все-таки имеет над ним свою власть, никогда не уступает своих прав и рано или поздно найдет минуту для того, чтобы напомнить о себе. Река забвения – это не более как миф, ибо ничто из пережитого не забывается. Ведь вот же думал он, что приближение Петербурга не вызовет в груди его ничего, кроме холодной иронии и сожаления о том, что «петербургский период» его жизни существовал. И это сожаление он действительно ощутил, но не иронией освещалось оно, а другим – каким-то теплым и вместе тревожным чувством, как будто кое-чего из давно исчезнувшего ему было и жаль. Ведь были и счастливые и торжественные минуты заблуждений; ведь бывали моменты, когда хотелось и мир спасти и жизнь отдать... Хорошо он знает теперь, что жизнь отдавать так, как тогда хотелось, было бы напрасным делом; что мир не только не был бы этим спасен, а даже не заметил бы этой «великой» жертвы... Но что значит это холодное рассудительное знание в сравнении с тем неизъяснимо сладким подъемом благородных чувств, каким сопровождалось это заблуждение?

Все это, впрочем, были мимолетные мысли и чувства, которые как-то беспорядочно надвигались на него, смешивались и путались, но мешали ему спать. Когда издали стали уже видны неясные очертания петербургских строений, Рачеев вполне овладел собой и смотрел на приближающуюся столицу спокойно, с ровно бьющимся сердцем.

Но, несмотря на бессонную ночь, теперь, когда он, вернувшись от Баклановых, был уже в гостинице, ему ни на минуту не пришла мысль об отдыхе. Все-таки настроение было при-

поднятое и ему не сиделось на месте. Его потянуло на улицу, без всякой определенной цели, просто посмотреть, каковы они теперь – эти знакомые улицы, все ли на них осталось по-прежнему или что-то изменилось; захотелось пройтись по Невскому, взглянуть на Неву, даже переплыть ее на ялике, чтобы припомнить это ощущение, давно не испытанное. "Пожалуй, еще потянет меня в какой-нибудь из прежде посещаемых кабаков и сама рука невольно протянется к бутылке *fine Champagne*²?" – с полуулыбкой подумал он. Но на это он ответил себе строго: «Ну нет, не так уж сильна надо мной власть прошлого. Тут уже можно дать ему и по шее».

Он вышел на улицу. День был серый, но тихий и теплый. Попав сразу на Невский, он тотчас же ощутил многолюдство, толкотню, и это вызвало в нем приятное нервное возбуждение. Извозчики и нагруженные телеги торопились к вокзалу; экипажи конки, по три в ряд, двигались с непрерывным звоном. Его поминутно толкали в бок, наступали на ноги и извинялись. Он тут же убедился, что ходить по Невскому – это особое искусство и что он порядочно разучился этому искусству. Он разглядывал здания и вывески. Все было так, как прежде. Те же магазины и на тех же местах. У окна Винтера он машинально вынул часы и проверил их, и тут до смешного сказала старая привычка, которая много лет в нем спала: в прежние годы он здесь мимоходом всегда проверял часы. Пройдя Аничков мост и убедившись, что конные фигуры в неизменных позах стоят на старых местах, он осмотрел Екатерининский сквер, благодарным взором окинул Публичную библиотеку, под высокими сводами которой, среди внушительной тишины, в кругу серьезных внимательных лиц – в былое время ему так сладко "отдыхалось" от бесплодных волнений, бросил взгляд на Александринку и сосредоточился на осмотре Гостиного двора. Удивительно, что и здесь, несмотря на перестройку, он почти все нашел по-старому, ничему не удивился и ничем не заинтересовался. Точно вчера только он покинул Петербург. Ему казалось, что даже лица прохожих знакомы ему и что это те самые лица, которые постоянно попадались на глаза много лет тому назад. Разница была только в том, что прежде он, наверно, уже встретил бы двух-трех приятелей, с которыми поболтал бы, да дюжину таких знакомых, перед которыми приподнял бы шляпу. А теперь никого.

Он остановился у витрины книжного магазина и внимательно разглядывал книжные новости. На видном месте лежал изящный томик последнего романа Бакланова. На нем, между прочим, значилось: "издание третье". Рачеев подумал: "В ходу, значит, Николай Алексеич".

Рядом с ним у витрины стоял какой-то господин – высокий, тонкий, порядочно согбенный, в темном длинном пальто с приподнятым воротником. Воротник закрывал лицо снизу, а надвинутая на лоб шляпа – сверху. Виден был только нос и на нем золотые очки, а из разреза воротника выглядывал конец длинной узкой бородки рыжего цвета. Дмитрий Петрович не обратил бы внимания на этого господина, но ему показалось, что тот необыкновенно внимательно приглядывается к книжке Бакланова и шурит, глаза именно по направлению к тому месту, где стояла надпись мелким шрифтом: "издание третье". Чтобы лучше разглядеть, он даже нагнулся и почти прикасался головой к огромному стеклу витрины. Рачеева это очень заинтересовало. Быть может, это простой читатель Бакланова, поклонник, которых у него много, а может случиться, что и общий знакомый. Но кто же? Такой фигуры из числа прежних знакомых он не помнил. Единственный, кто был высокого роста, это Ползиков, но он отличался цветущим здоровьем, был довольно плотен и держался прямо, даже чересчур прямо.

Рачеев дал время незнакомцу прочитать, что ему было надо, выжидая, когда тот отойдет от витрины и повернет к нему лицо. Момент этот наступил. Высокий господин сделал шаг назад и уже хотел было идти дальше, но вдруг остановился, словно пораженный неожиданным зрелищем. Он смотрел на Рачеева сквозь очки своими мигающими прищуренными глазами, Рачеев же смотрел на него, напряженно стараясь что-то припомнить. Вдруг они одновременно ринулись друг к другу и начали крепко целоваться и пожимать друг другу руки.

² *Fine Champagne* – марка французского коньяка.

Это был Ползиков, но Рачеев, хотя и признал его, все никак не мог примириться с мыслью, что это он, – до такой степени изменился этот человек.

– Боже мой! Неужели... Неужели это... мы с тобой? – воскликнул Рачеев, удивленным и недоверчивым взором осматривая старого приятеля.

– Ха, ха, ха, ха! Не знаю, как ты... А что касается меня, то это действительно я... Самый что ни на есть подлинник!.. – сиповатым и в то же время резким голосом ответил Ползиков. Он смеялся, но какая-то жалобная складка лежала на его губах и на всем лице, рот широко раскрывался, и тогда можно было видеть, что в нем недоставало многих зубов, а те, что остались, благодаря тому, что торчали одиноко и в беспорядке, производили впечатление каких-то хищнических клыков.

– А что? – продолжал Ползиков с тем же, по-видимому, принужденным смехом. – Не узнать? А? "Где ж девалася мочь зеленая, сила гордая, доблесть царская"? А? Эх, брат, наплевать!.. Все там будем!.. Знаю, брат, глядишь и думаешь: и что это так скрутило беднягу Антона? А? Угадал ведь? А? То-то! Ну, погоди, все расскажу... А ведь я, можно сказать, несказанно рад твоему лику... Не веришь? Видишь, я потому спрашиваю, что в здешних местах не принято Ползикову верить... Ха, ха, ха! Ползиков сказал – значит брехня!.. Но ты верь. Ей-богу, рад... И что это тебя принесло? Кого ты видел? Этого подлеца Бакланова? А? У него остановился? Нет? Что же он мне, скотина эдакая, не сказал? Встретил бы... Торжественно бы встретил!.. Но погоди, брат, что это я тебе в Гостином изливаюсь!.. Зайдем куда ни на есть... Ну, в Мало-Ярославский, что ли... а? Согласен?

Рачеев до того был поражен видом приятеля, его речами, тоном, жестами, что ничего не возражал, а следовал за ним. Ползиков шел торопливо, нервной походкой, точно спотыкаясь. Воротник пальто все время был приподнят; он часто поправлял шляпу и очки, которые очень прочно сидели на его большом носу. Очевидно, это была только нервная привычка. Они прошли в Большую Морскую, поднялись наверх и заняли уединенную комнату в Мало-Ярославском трактире. Ползиков заказал водку и какие-то закуски, и скинул свое длинное пальто. Они уселись друг против друга. Ползиков склонился к столу, подпер голову руками и долго рассматривал Рачеева, все время усиленно мигая глазами, словно собираясь заплакать. Рачеев теперь подробно разглядел его лицо. Оно никогда не было красиво. Но здоровье, которое дышало в каждой его черте и покрывало щеки ярким, свежим румянцем, скрадывало его недостатки. А умные, блестящие глазки в минуты ораторского вдохновения придавали этому лицу даже своеобразную красоту. Теперь оно было худо и бледно. Длинное, оно еще больше вытянулось от худобы, большой нос, казалось, еще несколько вытянулся или вырос, острая борода, в конце загибавшаяся кверху, придавала всему лицу злое выражение; только глаза остались все те же; их проницательность стала острее, а частое миганье делало их влажными и усиливало блеск. Густые рыжие волосы поредели, образовав над висками глубокие заливки.

– Да и ты, брат, Дмитрий Петрович, переменялся! – сказал наконец Ползиков. – Только ты пошел на прибыль, а я на убыль... Да! Ну, что же ты все молчишь? Говори что-нибудь!..

– Эх, Антон Макарыч, погоди, дай опомниться! – промолвил Рачеев. – Поразил ты меня очень! Куда все девалось? Здоровье-то твое, здоровье?

– Все, брат, в борьбу за существование ушло! Все туда шлепнулось! Э, да что здоровье? Разве одно здоровье? И все прочее, что было, все унес этот проклятый закон!.. Ну-ка, почтим твой неожиданный приезд и нашу чудесную встречу! Ну-ка!

Он налил две рюмки и придвинул одну из них Рачееву. Тот чокнулся и выпил.

– Все туда ушло, Дмитрий Петрович, все! – прошамкал Ползиков закусывая балыком.

Благодаря недостатку зубов он как-то усиленно лавировал челюстями, что придавало ему совсем старческий вид.

– В Лету – бух! Вторично по тому же поводу!

Он опять налил и опять придвинул рюмку Рачееву.

– Нет, я больше не буду!.. – сказал тот.

– Что-о?

– Не буду, никогда не пью больше одной рюмки...

– Ну, это, брат, ты не смеешь! Сто лет не видались, я рад несказанно, а он – одну рюмку!..

Что это такое? Принцип? Наплевать на принцип! Эка, тоже удивить захотел! Мы, брат, не на такие плевали! Во какие принципы были! Величиною с римский огурец! Ну, пей, пей, не сумлевайся!..

Рачеев решительно покачал головой.

– Фу ты!.. Ну, а если бы я умирал и от твоей рюмки водки зависела бы моя жизнь... Тоже не стал бы нарушать принципа? А? Не выпил бы? А?

– Если бы умирал, выпил бы, но ты, слава богу, не умираешь...

– А-а! Значит, все-таки уступка! Утешительно! А то есть у нас такие принциписты, что ты тут хоть умирай, не отступят!.. Строгие! Принцип у них все, да только и есть, что принцип, а в голове и в сердце пусто... Вот какие есть!.. Так не выпьешь?

– Если надо, чтобы я пил... Послушай, – обратился Рачеев к лакею, – принеси-ка мне полбутылки белого столового вина!..

– Э-э-э! Компромисс! Вино – это компромисс водке!.. Ну, да не все ли равно!.. К делу. Так вот, говорю, все и ушло туда, в борьбу за существование... В утробу этого чудовища!.. Как хочешь, а я буду пить... Уж ты позволь мне... И почему ты не пьешь, я не понимаю!.. Какой такой принцип в водочном деле?..

– Это лишнее, Антон Макарыч, а я избегаю всего лишнего!..

– Лишнего? Ха, ха, ха!.. Избегаешь лишнего? А я наоборот: избегаю всего необходимого и принимаю только лишнее... В этом и заключается сладость жизни... Да... Так я пью, уж ты позволь...

Он выпил третью и, позабыв закусить, сейчас же стал наливать четвертую:

– Пустоты боюсь! – пояснил он.

– Скажи, пожалуйста, ведь ты обеспечен? – спросил Рачеев, которому хотелось поскорее, пока Ползиков не успел напиться, услышать от него связный рассказ. Уж он по всем приемам видел, что тот любит напиваться и непременно напьется.

– Вполне. Даже чересчур. Семь тысяч зарабатываю! – ответил Ползиков.

– И сколько мне помнится, ты был хорошим семьянином!..

– Д-да!.. Б-был-был-был!.. – не сказал, а пропел Ползиков и вдруг как-то неестественно рассмеялся.

Рачеева всего покорило.

– Экий ты какой стал, Антон Макарыч! – промолвил он, качая головой.

– Нехороший? А? Ох, брат, действительно, осквернился я по всем статьям!.. Это верно... И особенно мне тягостно на тебя глядеть, какой ты правильный, во всем правильный!.. Именно вот, как подумаешь хорошенько, так правильный человек таким должен быть... И здоров ты, и стан прямой, и сложением умерен, ни легок, ни тяжел, и смотришь прямо, открыто, и что-то крепкое есть у тебя во взгляде, видно – никому не спустишь. И, видно, совесть у тебя чиста, да, это видно... И где ты только такую отделку обрел? В каком райском месте? Смотреть завидно!.. А я... видишь, какой я?! Совсем, так сказать, "человек наоборот"... Фу ты!.. Вижу недовольство на твоём лице!.. Дескать, толку от тебя никакого не добьешься, все, мол, околесину несешь... погоди, я еще не дошел до точки. Вот выпью четвертую и пятую, тогда другое дело... Тогда я умным человеком сделаюсь...

Он медленно выпил четвертую и стал сосредоточенно закусывать. Теперь он молчал, словно в самом деле старался сделаться умным человеком. Точно так же он обошелся с пятой рюмкой и столь же основательно закусывал после нее. Рачееву принесли вино.

VII

– Зою Федоровну помнишь? – неожиданно спросил Ползиков, откинувшись на спинку стула и два раза подряд поправив очки.

– Да как же не помнить? Твою жену-то?

– Нет, не жену, а Зою Федоровну! – резко перебил его Ползиков, тяжело отчеканивая слоги. – Какая она мне у черта жена, когда она с благородным эскулапом Киргизовым в сожительство вступила? А? Понял теперь, в чем дело? То-то! И ведь, брат, ни с того ни с сего... Прямо, можно сказать, с ветру... Ну, сказать бы, он гений был, этот Киргизов, а то нет ведь, просто дурак... только видишь, у него там идея есть какая-то гуманитарная, вроде того, что, например, бедность не порок, да и эту идею он украл у какого-нибудь умного человека, вроде нас с тобой, потому самому ему во веки веков не выдумать. Но в чем секрет? Мы с тобой, например, знаем твердо, что бедность не порок, и молчим об этом, потому, кто ж этого не знает? А он нет, у него это коренная идея, ибо другой, почище, он не сумел украсть. Посему он ходит высоко подняв голову, очи его пылают, и вид у него таинственный. Сейчас видно, что человек этот неспроста и что у него за душой что-то удивительно великолепное. Дамочка это чувствует, особенно ежели у него нос римский, грудь колесом, ну... и прочие там снасти как следует. Сейчас у нее в сердце или там где, не знаю, червяк заводится... Сейчас это она ему "едину" устраивает, тЙте-à-тЙте значит... Ну, он ей и поведает голосом звенящим: "Сударыня, бедность не порок!" А дамочке ведь это все единственно, лишь бы наедине и римский нос и прочее... А сам глазами так и стреляет, куда следует... Потом ручку, потом ножку, а потом и все остальное!.. А засим мужу нота: не могу с тобой жить, потому у тебя идеи незаметно, а у него вон какая идеюшка топорщится. А то и прямо без ноты: извозчик, подавай! И делу конец... Так и Зоя Федоровна поступила, и многие так поступают. У нас, брат, это в моде. Нынче тоже в моде на шестидесятые годы клеветать по этой части. Напрасно-с. Там действительно идея была, глупо понятая, но все же идея... До свободы, видишь, дорвались, потому никогда ее прежде не видали и обращаться с нею не умели. Ну, и совали ее всюду, эту свободу... А нынче... нынче это делается так... вроде как бы перемена ресторана, когда в одном приелось обедать. Ты только послушай, Дмитрий Петрович, разговоры. Нет-нет и услышишь: а знаете – Телятникова разошлась с мужем и сошлась с Поросятниковым!.. А через год слышишь: а знаете – Телятникова разошлась с Поросятниковым и сошлась с Бугаевым... а? А мужчины тоже не особенно зевают... Разошлась, сошлась, разошелся, сошелся... Все это так просто и обыкновенно, точно коночные поезда на Невском: сошлись на разъезде и опять разошлись! Свобода чувства! Ха! Какое там у черта чувство? Это, брат, свобода щекотки и не более!.. Пей же хоть вино ты свое паршивое. А то ничего не пьешь... А я выпью водки... Ты не бойся! Думаешь, напьюсь и стану городить несурзное? Напрасно! Только тогда и близок к истине, когда пьян...

Он выпил и пожевал какую-то закуску.

– А дети? – спросил Рачеев. – Как же они с детьми устраиваются?

– Дети? Ха-ха-ха! Вот спросил! Во-первых, детей почти не бывает, а ежели бывает, то самая малость!.. Нынче такая теория есть: люди умственного труда, дающие, так сказать, тон общественной жизни, не обязаны размножать род человеческий. Они заняты высокими соображениями, им это мешает... Пусть, дескать, этим занимаются люди темные... Ну, словом, на мужика свалено... Понимаешь ты? Мужу, значит, прибавилось работы. Прежде на него возлагалось добывание сырья и прокормление избранных рода человеческого, а нынче, кроме того, единственно на него возложено и размножение того же человеческого рода... А ежели каким-нибудь чудом дети оказались, то их растасовывают: этот тебе, а этот мне, вот и все. У одного нет матери, а у другого нет отца...

– А знаешь, – заговорил он опять после короткого молчания, и на губах его появилась злорадная улыбка, – а ведь он ее бросил...

– Кто? – спросил Рачеев, у которого от всех этих едких изречений Ползикова голова кружилась.

– Эскулап Киргизов Зою Федоровну! Получил он назначение куда-то не то в Батум, не то во Владивосток. Ну, и сказал ей: милая моя, в столь дальнее путешествие отправляться вдвоем неудобно. Жалованье мне дают маленькое, прогонные тоже нынче сбавили, словом – я беден, а бедность, как я уже тебе докладывал в ту памятную минуту, когда и прочее – бедность, говорю, не порок. А посему – до свидания. И уехал сей непорочный бедняк, а Зоя Федоровна осталась на бобах... Думал, ко мне придет; но нет, гордость не позволила. За ум взялась, в зубоврачебное искусство ударилась... А жаль, я бы ей пропел мелодию о римском носе и о свободе щекотки... Я бы ее к черту послал!.. Теперь она изнывает в скудости, а я семь тысяч получаю и ей ни копейки не даю... и девать-то мне их некуда, а ей не дам... Вот что!..

– А сын твой? У тебя был маленький сын? – спросил Рачеев, вспомнив, что он участвовал даже в торжестве по поводу рождения у Ползиковых наследника.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.